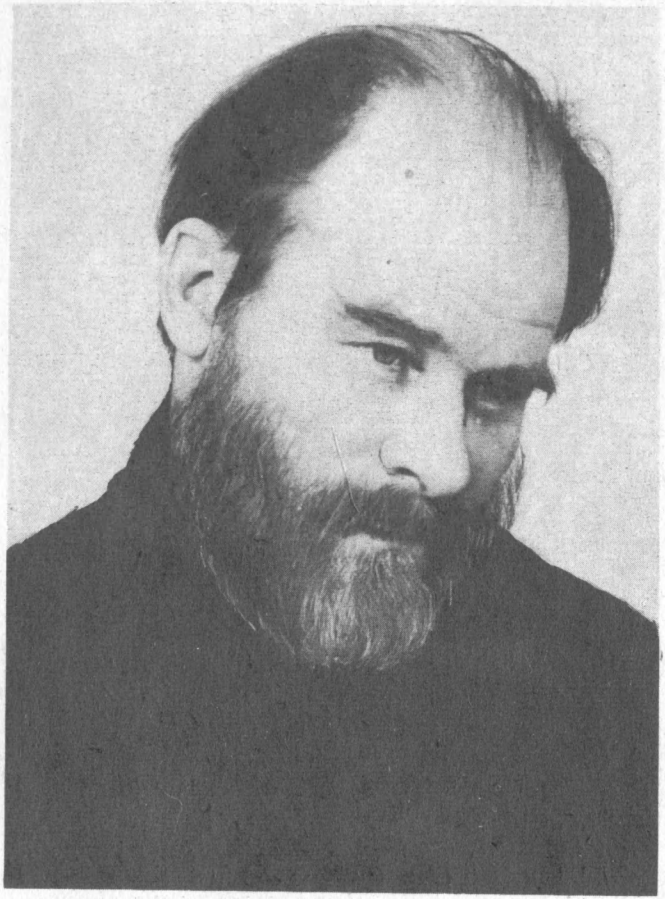
3487-4
К 84

В. КОНЬКОВ

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ





84Р7-4
К64

В. КОНЬКОВ

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

18908-2
Централизованная
библиотечная система
г. Тайга
Кемеровской области

Кемеровское
книжное издательство
1987

ББК 843Р7
Р2
К 64

Рецензент — член СП СССР
Н. В. Богданов

Коньков В. А.
К-64 Разговор по душам: Повести. Рассказы. — Кемеровское кн. изд-во, 1987. — 240 с., илл.

В пер.: 90 к. 15000 экз.

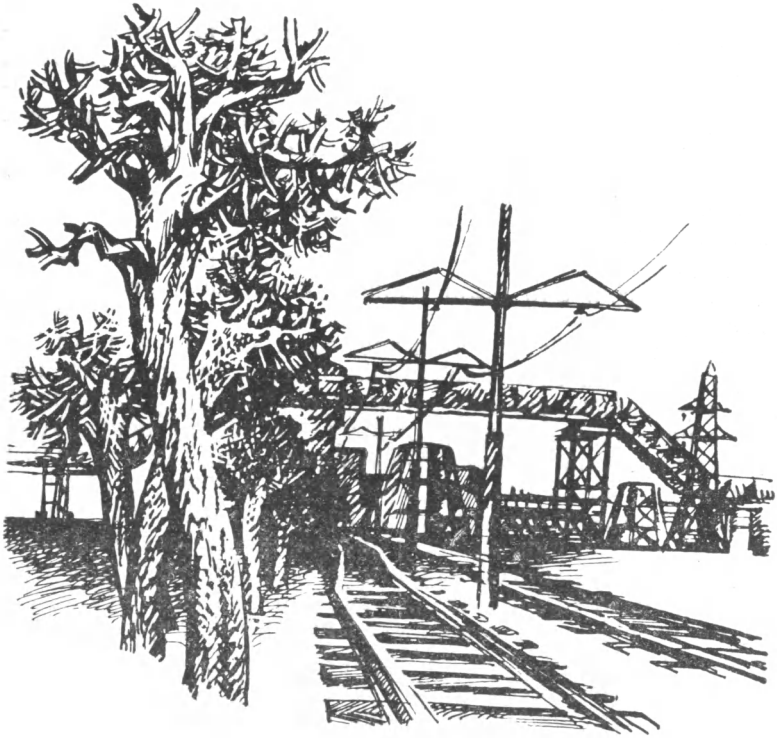
Герои повестей и рассказов этой книги — рядовые труженики: шахтеры, строители, сельские механизаторы. Однако автор сосредоточивает свое внимание не на профессиональных проблемах и особенностях людей. В центре его внимания духовные искания героев, их стремление к утверждению добра, человечности и справедливости.

К $\frac{4702010200-20}{M145(03)-87}$ 87

ББК 843Р7

© Кемеровское книжное издательство, 1987

ПОВЕСТИ



ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВО

1

Митя сидел в полудреме, навалившись плечом на заиндевелое стекло. Ему повезло. Еще на заводской остановке, где вечерняя смена штурмовала двери одного из последних трамваев, его подтолкнули к сиденью. Митя сразу же, как только тронулся трамвай, начал задремывать.

Тело не ныло, как в первые дни. За две недели работы грузчиком Митя, кажется, стал уже привыкать к работе такелажника.

Тело не ныло, но как только он переставал носить, наваливался сон. Это была единственная, не проходящая в последние дни и ночи мысль — спать. Он засыпал во время перекуров на работе, в трамвае, дома за столом, пока Татьяна с бабкой собирали ужин. Сквозь сон слышал, как бабка — хозяйка избы, у которой он с Таней, приезжавшей с ночевками, снимал комнату, — о чем-то шепталась с ней, как гремели ведрами. Он понимал, что Татьяне нельзя носить тяжелое и что ему надо встать и самому пойти за водой, и вставал, но моментально подчинялся бабкиному уговору: «Лежи иди, сынок, отдыхай, не лезь в бабьи дела, тебе скоро на работу». Понятия утра, дня, ночи для него исчезли. Было только: начало смены — и конец. Вот и сейчас он не видел, хотя знал, что они здесь, двух угрюмых мужиков-собригадников — Михаила Вартунова и Петра Зинкина — они сидели сейчас впереди Лапшина. Им было почти по пути. Они жили в общежитии в двух остановках от переулка, где стояла изба лапшинской хозяйки.

Сегодня, 11 февраля 1985 года, был день получки. Пер-

вой его получки в жизни. Он числился по временному списку, им выдавали деньги в последнюю очередь.

Зинкин, который отработал всего неделю, подошел к Лапшину в бытовке.

— С нас причитается на бригаду. С меня — «полфедора», с тебя на два.

Лапшин отдал деньги. Пить он отказался. После ссоры с Латуниным он ни разу еще не пил.

— С устатку выпить — первейшее дело, — осуждающе объяснил Зинкин. Он, сидя на бочке, разливал. — Я вот два раза лечился до того, пока моя стерва не упекла меня в ЛТП, а там надо шарабаном крутить, и будь спок! Мужик непьющий не может быть. Наше дело такое.

— Ты банкуй, а малолетку не трожь, — спокойно посоветовал Вартунов.

Лапшин с первых дней работы заметил, что хотя Вартунов и числился рядовым грузчиком, но в бригаде у него было особое положение. Его не то боялись, не то уважали все, в том числе и громила-бригадир Андреич.

Сегодня Лапшин работал с Вартуновым на разгрузке вагонов с серой. За целый день они двух фраз, пожалуй, не сказали.

Взяв стакан — вместо большого пальца на правой кисти у Вартунова толсто торчал обрубок, — Вартунов, прежде чем выпить, сказал:

— Малый не сачок. — И больше никто к Лапшину не приставал с предложением выпить, и разговор, завязавшийся у грузчиков, тоже не интересовал его.

— Земеля, не проспишь пункт прибытия?

Лапшин молча улыбнулся в ответ и вновь закрыл глаза.

Трамвай, звонко отсчитывал на стыках километры темных окраинных улиц. На одной из остановок в вагон с магнитофонным воем втолкалась компания. Лапшин, не открывая глаз, почувствовал, что рядом с ним кто-то сел. Потом услышал тоненький испуганный девичий голосок:

— Отстаньте же, наконец, я вас очень прошу!

— Крошка не понимает хорошего обращения? — тонким скрипучим голосом весело поинтересовался мужчина, и Лапшин узнал его. Он, безусловно, мог сделать вид, что не узнал. Сидеть как сидел, отвернувшись к окну, упрятав нос в согревающую овчину отворотов полушубка, но все произошло помимо его сознания. Лапшин повернулся на голос и увидел Латунина.

— Здравствуй, Митя! — с некоторым жеманством произнес он. — А мы балдеем. В баньку решили смотаться, не желаешь с нами? Расплескаем пузырек нахаляву, Митя? Я к тебе без претензий, мы же джентльмены! Вот с нами и шпулька поедет! — Латунин наклонился и обнял девушку, испуганно отпрянувшую в сторону Лапшина, и пытавшуюся сбросить латунинскую руку.

— Никуда я не еду, слышь, отстань, ну! — в голосе ее пробивались слезы.

— Отлипни, граф! — сказал Лапшин, сказал тихо, а прозвучало с вызовом.

— Нет, вы на него поглядите?! — все еще весело, но уже погромче и все же дружелюбно вскричал Латунин, — какой султан! Мало того, что похитил дочь из лучшего дома, так его еще и на пастушек потянуло; джентльмены, вы посмотрите!

Магнитофон приблизился. Митя обернулся. Их было много. Все незнакомые, по всей видимости, первокурсники.

— Сосунков пощипываешь, граф? — спросил Лапшин и повторил: — Отлипни!

Девушка вплотную придвинулась к Лапшину, почувствовав в нем защитника-спасителя, а он подумал: главное, не оказаться к ним спиной. Латунин же, как будто ничего не поняв, продолжал в том же тоне:

— А ловко ты упрятал чувиху. Чтобы Таньку поселить в эти палестины! Как же она без душа обходится? Или экстремальные условия — для впечатляющего воздействия на предков? Кстати, Воронов сегодня с каким-то мужиком разыскивал тебя в общаге. Он, видимо, допер, что зять его

с пролетариями всех стран соединился. Извини, Митя, конечно же, — будущий зять?

Напоминание о профессоре Воронове, Татьянином отце, привело Митю в замешательство. Лапшин всегда знал, что рано или поздно это должно было случиться, и все-таки любым способом избегал встречи с Татьяниными родителями.

Потому-то слова Латунина и застали Митю совершенно врасплох. Обеспокоившись, он вовсе не обратил внимания на упоминание о мужике, заходившем вместе с профессором в общежитие, а между тем, это был его отец, о приезде которого Митя и подозревать не мог и не должен был, потому что и сам Александр Семенович Лапшин-старший еще вчера утром, в Тополинске, уходя, как обычно, на шахту, тоже не знал, что поедет в областной центр в гости к сыну, студенту Горного института.

2

Лапшины были из коренных тополинцев, еще строивших рудник и вывозивших в конных вагонетках первые тонны угля с Первогорной шахты. Александр и не выбирал, и не выгадывал себе судьбы. Она сама выводила из детства военных лет кого прямо в забой, а кто посмекалистей — в Горный институт, обучение в котором и закончил Лапшин двадцать лет назад и вернулся в Тополинск. В Тополинске на шахте «Новая» он работал участковым механиком. Сколько за это время сменилось начальников участка! Их помощников! А техника? Раньше всего и забот было: лебедка для спуска леса по уклону вниз да конвейер в лаве. Слесарь Миша Старостин, на участке Лапшина управляющий когда-то лебедкой, сейчас на соседней шахте главным энергетиком. Лапшин же все механиком на том же участке, хотя портрет его с доски Почета перевесили на стенд «Наши ветераны».

За эти годы Александр Семенович, кажется, ма-

ло изменился. Только весь как-то округлился... А так все то же тугощекое, гладкобритое лицо, ровно, набок зачесанные, аккуратно подстриженные волосы.

И вот вчера, как обычно, вернувшись с работы, Лапшин, ничего не подозревая, нажал кнопку дверного звонка и в растерянности увидел отворившую ему дверь жену в слезах.

— Ох, отец!

Плачущей жену Лапшин видел нечасто. Последний раз — когда, провожая сына, уезжавшего в институт, они стояли на перроне, и тот весело махал рукой... Тогда еще выговорил жене: «Не на войну провожаешь!» Но то были какие-то другие слезы. А при виде этих Лапшин растерялся.

— Горе у нас, отец, — наконец выговорила Ольга, — Митька, отец! Митька...

Сын Дмитрий, студент уже второго курса, письмами родителей не баловал, изредка звонил по телефону: дескать, жив, здоров, шлите деньги. Поэтому Лапшин и спросил Ольгу:

— Он звонил?

Но жена, не прекращая плакать, только молча несогласно покачала головой, и этот немой жест испугал Лапшина, и он нетерпеливо потребовал:

— Да скажи ты наконец хоть слово, чего душу тянешь? Побили? Живой?

— Живой, живой, — выговорила между всхлипываниями Ольга. — Иду я сегодня, в универмаг решила забежать, встречаю Соню. Чего, спрашиваю, тебя долго видно не было? Я, говорит, Люську ездила проведывать...

— Митька при чем? — поинтересовался Лапшин, вешая пальто, и вдруг его осенила догадка: — Жениться, подлец, собрался?

— Жениться? — в свою очередь Ольга в недоумении подняла на Лапшина заплаканные глаза. — Как бы не так, жениться! Институт бросил Митька, понимаешь? Со-

не Люська сказала, она Митьку на вечере у себя в мединституте встречала. Хвастался, что ввиду чрезвычайного обстоятельства он из института ушел и будто бы в экспедиторы собирался!

— Митька? — при всей драматичности момента Лапшин не удержался от улыбки, услыхав последние слова жены, — Митька в экспедиторы? Нашел-таки непыльную работу! Теперь суши, мать, сухари. С его лоботрясничеством он в экспедиторах долго не продержится. Обязательно в тюрьму сядет. Корми, мать, — Лапшин пошел в кухню.

— Ты соображаешь, что говоришь? — идя за мужем, в ужасе закричала Ольга. — Ты соображаешь, над чем смеешься? Сын один среди чужих! Не говорила ли я тебе, не настаивала: отец, надо бы съездить, посмотреть, как он там! Соня ездит, беспокоится, а у нее девчонка! Тебе же все некогда! «Не в лесу живем!» А в лесу сейчас спокойнее, может быть. Он такой нервный!

«Никакой он не нервный. Парень как парень», — подумал Лапшин, но вслух не стал возражать. А Ольга все более возбуждалась:

— Давыденкин охломон?! Из школы чуть не выгнали! Женился, развелся! Однако учится! Потому что родители беспокоятся! Сам Давыденко к прокурору ездил, говорят! А нам зачем? «Я сам учился, меня никто не подталкивал», — язвительно напомнила она слова мужа, — а вот подтолкнули? Он не мог сам, не мог! Непременно приятели какие-нибудь сманили. Ты представляешь, что теперь будет? Его же в армию могут забрать! Раз он из института ушел!

— Ну и что? Что в этом страшного? И я служил. Кроме пользы ничего не будет!

Лапшин, не успев как следует осмыслить новость, старался успокоить жену, но его последние слова возымели как раз обратное действие.

— А что же, по-твоему, самое страшное? Что? Это те-

бе не страшно! И знаешь, почему? Потому что ты о детях никогда не думал! Твое дело — деньги принес, остальное, думаешь, само собой делается?! Как чуть, так: «Мать, мать!» А сам все: «Шахта да шахта!»

Вообще-то в Ольгиных упреках в равной мере были и правда и неправда.

Лапшин, в отличие от многих соседей, любил и умел еще работать молотком, пилой, топором, с удовольствием сам ремонтировал квартиру, на мичуринском участке сам соорудил домик, но не придавал всему этому серьезного значения, а главным в жизни считал свое шахтерское дело.

Но по справедливости надо заметить, что от дедовского трудолюбия, от отцовской смекалки кое-что досталось и младшему Лапшину. Митька с первых школьных лет пристрастился мастерить приемники, потом и ремонтировал магнитофоны, с пятого класса помогал отцу ухаживать за автомашиной.

С годами, чем сын становился старше, дорожали и его увлечения, о которых по расходам отец и узнавал, но из-за занятости делами не вникая в мальчишеские заботы и не видя, как забывались радиоприемники, пылилась где-то в серванте пятисотрублевая кинокамера, ржавел на балконе гоночный велосипед. Кассетный магнитофон заменялся на стереоагрегат. Но опять же, по справедливости сказать, Митька в своих хобби совсем не отличался от таких же безнадзорных друзей по школе, соседских детей, которые толклись по подъездам, собирались в недостроенных домах, бродили по вечерним скверам.

За все последнее время самым важным событием в семье Лапшиных, конечно, стало поступление сына в Горный институт. Оно настолько заслонило собою все, что даже вызвало ревнивый упрек дочери Натальи, заявившей: «Вы все своему любимчику! Для него вам ничего не жалко!»

Ольга никак не могла взять в толк, почему нужно пла-

тить по тридцать рублей за какую-то пластинку на базаре, тем более, что для нее визжание этих пластинок непонятными ни женскими, ни мужскими голосами было тяжело переносимым испытанием. Но именно упрек дочери и сломил ее, и Ольга все-таки дала деньги на пластинку, за что Наталья благодарно расцеловала мать.

Встретив мужа с работы фразой, сохранившейся с умилительных времен младенчества детей: «Ты знаешь, что сегодня они натворили?», Ольга подробно рассказала обо всем мужу, над чем они посмеялись и пришли к выводу, что у Натальи есть определенная житейская хватка, та самая, которой как раз и недостает родителям.

Ах, эта хватка! Деятельный и предприимчивый до самопожертвования во всем, что касалось шахты, Лапшин, по мнению некоторых знакомых, совсем не «умел жить». От этого у него, как казалось многим, и шли не блестяще и служебные дела. Он не умел поддерживать нужных отношений, проявляя принципиальность там, где по здравому смыслу надлежало бы быть покладистым. Начальство, ценя его как технаря, давно заприметило за ним эту черту, потому он и остался в участковых механиках, хотя, надо сказать, попытки продвигать его по служебной лестнице были. Но в одном случае он конфисковал приготовленные для отправки на строительство гаража трестовского механика новые решетки, то есть просто отправил их в шахту, в другом — записал собственное мнение, совершенно противоположное мнению возглавляемого главным инженером большинства по поводу готовности новой лавы к эксплуатации. И стали все громче и конкретнее поговаривать о том, что хоть голова у него светлая, но не стратег, не организатор он, а технарь-исполнитель. В конце концов Лапшин и сам пришел к мысли, что его стезя — работа в лаве, а технику он любил. Был он механиком требовательным, начальником строгим, но так как руки у него золотые, а голова — целый техотдел, слесаря, исподтишка подтрунивая над ним, готовы были идти за своим ме-

хаником хоть в воду, что и случалось не раз в буквальном смысле, когда подземные ручьи и реки прорывались в выработки и аварийные работы не прекращались сутками. В такие дни, а вернее часы, что оставались Лапшину на домашний отдых, Ольга сама, не докучая заботами, приструнивала детей, не допуская их к отцу. Со временем дети привыкли к тому, что все их проблемы замыкались на матери и решались ею, и чем становились старше, тем более отдалялись от постоянно занятого на шахте отца, снисходительно позволяя тратить на себя его зарплату и иронично-снисходительно же гордясь перед друзьями его портретами в местной газете, медалями, надеваемыми отцом по календарным праздникам.

И все же жизнь Александра Лапшина была спокойна и стабильна в семейном согласии и любви. Поэтому в рассказе жены о сыне Лапшину вдруг почудились грозные перемены. Он растерялся и только несколько раз подряд повторил:

— Оля, ну что ты, Оля!

И неизвестно, сколько бы все это продолжалось, если бы не появилась Наталья. Дочь подозрительно долго ходила из комнаты в кухню, присматриваясь к родителям, но в скором времени это ей надоело, и она ушла в свою комнату, откуда через несколько минут загремел хор гитар и барабанов. Этот так своевольно ворвавшийся неуместный праздник неожиданно успокаивающе подействовал на родителей. Первой спохватилась Ольга, и почти шепотом она стала виниться:

— Прости, Саша, меня! Прости! Затмение прямо какое-то нашло. Все в голове смешалось. Что же делать-то станем? Сына как спасать? Господи, отчего на нас такое горе?

— Возьми себя в руки прежде всего. Успокойся. Нужно хоть что-нибудь выяснить у той же Давыдовой. И ни слова ей, — имея в виду дочь, почему-то предостерег Лапшин, все еще не в силах осмыслить случившегося.

Давыдовой он звонил сам, но та, кроме того, что рассказала Ольга, добавить ничего не могла.

Положив трубку, Лапшин довольно продолжительное время молчал, а Ольга не решалась заговорить. И только когда муж объявил, что решил поехать к сыну, она стала настаивать на том, что ехать нужно обоим.

— Нет, — непривычно резко и твердо сказал Лапшин. — Я хочу сам поглядеть на этого экспедитора! Разберусь, что у него за такое чрезвычайное обстоятельство! И, наконец, надо будет разыскать Воронова!

Лапшин позвонил начальнику участка. Объяснил, что по семейным обстоятельствам ему срочно нужен отпуск на три дня без содержания, напомнил тому, чтобы проследил, как ремонтная смена будет менять кабель на скате. И после этого пошел в гараж.

3

Что касается Татьяны, дочери Воронова, так, во-первых, о ней Митя родителей не оповещал, а во-вторых, когда они случайно познакомились, он и не догадывался, что она профессорская дочка.

Познакомил их Латунин, который затащил Лапшина на премьеру в оперетту, с прицелом, конечно, на банкет. На банкете Митя и увидел Татьяну (она служила распространителем билетов). Коротко стриженная, стройная, фирменные джинсы обтягивали длинные ноги, она все-таки неуловимо чем-то выбивалась из джинсового женского ряда, это и позвало Лапшина.

Митя проводил ее поздно ночью домой, а назавтра они уже встретились у почтамта и с тех пор не расставались. Они виделись каждый день, и, кажется, каждый день у них был днем взаимного узнавания. Странные открытия умудрялись они делать друг в друге, приходя от этих странностей в детский восторг. Татьяна умела задать завлекательный тон самому пустячному разговору, когда

неожиданно в обыкновенных словах, в коротеньких обрывистых намеках слышалось угадывание его мыслей, и даже не угадывание, а их продолжение. Казалось, Татьяна всегда была в его жизни.

Митя даже превратился в театрала. Правда, больше всего ему нравилось, что Татьяна его, примчавшегося из библиотеки или с секции, голодного, запрятывала в маленькую комнатушку администратора и кормила специально приготовленными для этого случая бутербродами и кефиром.

Удивительно, как их отношения выпали из поля зрения Латунина, негласного лидера и законодателя их компании. Буквально дня за два до ссоры с ним Латунин впервые с иронией заметил:

— Понятно, старик. Хватка у тебя настоящего бизнесмена. Ключ от профессорской машины, считай, у тебя в кармане. Что ни говори, а заневестилась наследница Воронова. Пост фактум можно будет и ручкой сделать, зато при положении и на «Волге».

Пожалуй, еще большего удивления заслуживало поведение самого Мити по поводу Татьяниной семьи, и виною тому явилась ее должность распространителя билетов и еще то, что они быстро как-то отделились от старой компании.

Ехидный намек Латунина на предприимчивость Лапшина вдруг открыл тому глаза. Как он ни убеждал себя, что в отношениях с Татьяной у них все вышло само-собой, замечание Латунина ударило по самолюбию Лапшина, и он уже намерился вовсе прекратить знакомство. Но ему трудно было сдерживать свое желание видеть Татьяну, и тогда Митя, которому казалось, что ребята осуждающе посматривают на него, решил откровенно, как он сказал сам себе, по-мужски все решить.

Татьяна нашла его в институтской библиотеке вечером, и они отправились на выставку в картинную галерею. Когда подошли к огороженной сугробами маленькой площа-

ди с мужской скульптурой на выходе, Митя сказал (он к этому готовился с самого начала):

— Оказывается, профессор Воронов — твой отец?

— Хочешь, чтобы я с ним поговорила? — приостановившись, блеснула из-под челки взглядом Татьяна.

— Ни в коем случае, слышишь! Никаких протекций от профессорских дочек, — выкрикнул Митя и сам же подумал, что вот уж о дочках получилось совсем по-дурацки.

— У тебя был разговор с Латуниным, — догадливо и грустно сказала Татьяна.

Руслан Латунин, острослов, выдумщик, знаток английского языка, еще в школе, где он прочно занимал место заводилы и вожака, сколотил «Свободный парламент» — веселую компанию, в им же сочиненном манифесте, провозгласил: «Преодоление рутины ханжеской морали на основе самовыражения и свободы духа и тела». Центром сбора — «балдения» (на их лексиконе) — «леди и лорды», так титуловали себя латунинцы, избрали полуподвальный коктейль-бар «Грот», где за «добавочную капусту» (то есть рубли). безусловно своим людям давали напрокат фирменные кассеты, диски, фильмоскоп с сексуальными слайдами.

Латунин, конечно, был в этом «Гроте» своим, на зависть остальным «лордам». Он не только имел дела с настоящими «фирмачами», но однажды чуть было не попал в свидетели по уголовному делу, да отец сумел «отмести его».

«Леди» имели еще в обиходе «лордов» наименование «телок», что должно было определять их, так сказать, внутренний статус. Татьяна, вовлеченная в «парламент» подружкой в девятом классе, сразу же выбилась из общего предписываемого «телкам» поведения покорности, чем вызывала скрытую неприязнь девчонок, подогреваемую вдобавок повышенным интересом к ней «лордов».

После окончания школы компания рассеялась по вузам соответственно сферам влияния родителей, но иногда все-

таки собиралась, хотя уже в обновленном составе. После одного из таких «балдений» и затащил Латунин Лапшина в оперетту, где они с Татьяной и увиделись впервые.

Между прочим, в оперетте Татьяна оказалась тоже по милости Латунина, связи которого были безграничны. На этот раз он ее, можно сказать, просто спасал. Татьяна имела неосторожность пригласить на тайно устраиваемую в общежитии университета вечеринку одну прямо-таки влюбленную в нее сокурсницу. Все шло хорошо, пока эта «телка» вдруг во всеуслышание не начала протестовать против «свободы духа и тела», впоследствии квалифицированной как попытка к изнасилованию.

Скандал этот, ко взаимному нежеланию и участников, и администрации университета, мог получить огласку, и тут Латунин, участие которого в вечеринке вовсе даже и не доказывалось, предложил Татьяне, не дожидаясь «жареного», самой подать заявление с просьбой отчислить по болезни с «последующим трудоустройством». Обо всем этом родителям Татьяна объявила уже будучи в должности распространителя билетов, мотивируя свой поступок желанием самой, наконец, обеспечивать свой прожиточный минимум.

Между тем, со временем, в суетной должности этой Татьяна для себя обнаружила любопытную, неизвестную ей сторону жизни. Она вдруг не только сама оказалась необходимой множеству людей, но неожиданно почувствовала ощущение радости от приносимой ею пользы. Незаметно для себя даже стала отступать от своего тиранического эгоизма в отношении с родителями. Это выразилось в ее согласии на хлопоты матери по восстановлению ее на заочное отделение университета.

Митя же, внешне похожий на всех джинсовых парней, отношения с которым вначале, казалось, завязывались по схеме «свободы духа и тела», оказался, по-нынешним временам, таким старомодно-сдержанным, внимательным, ласковым, что Татьяна незаметно и с удивлением для се-

бя поняла, что любит его. По-настоящему и впервые в жизни — серьезно.

— У тебя, Митя, был разговор с Латуниным, — Татьяна теперь уже как бы окончательно убедила себя в этом. — Ну что ж, просто не бывает исключений из правил, хотя мы их настойчиво придумываем. Но ты, Митя, не переживай. Я тебя понимаю, у тебя свои планы на жизнь. А знаешь, я где-то прочла, что талантливые люди рождаются от женщины, по-настоящему любящей партнера. Я своего партнера, хоть он и оказался банальным трусом, до сих пор люблю!

Я понимаю, вы — мужики, народ слабовольный. Воспитание катастрофически отрицательно повлияло на вас, притупив самый благородный и самый ответственный инстинкт — родоначальника! Но, к счастью, я сильная женщина, так что ты, Митя, не бойся.

— Ты хочешь сказать... — Митя оглядел с ног до головы ее фигурку в шубке с капюшоном, отрешенно стоящую над двумя тенями на снегу.

По тону произнесенной Митей фразы можно было догадаться, что он растерялся. Состояние это длилось всего несколько мгновений, в молчании которых для обоих ощутимо возникло ожидание самого важного за всю прожитую жизнь слова.

Наконец, Митя сообразил, что растерялся он от внезапно-осознанной им незащищенности любимой им женщины, а вслед за тем пришла радостная догадка о его непререкаемом праве на ее защиту, праве на ответственность за нее перед всеми, и вот тогда-то, наконец, и родились слова:

— Тань, выходи за меня замуж...

И уже назавтра время наполнилось незнакомыми делами, груз их однако не довлел над Митей, а подталкивал к действиям. Митя еще ходил на лекции, только после обеда бежал не в библиотеку, а на поиски квартиры.

Он еще жил в общежитии, но с улыбкой отмахиваясь

от студкомитетских мероприятий, уже продал свой японский магнитофон. Не прошло и недели, как он сказал Татьяне: «Завтра в три на остановке около универмага. Поедем глядеть хату. Целая комната!»

Коротко изложил дальнейшую программу: после сессии переходит на заочное отделение. С работой на химзаводе уже договорился — во вторую смену будет ходить, после лекций. Свадьба с приглашением родителей только после того, как самостоятельно накопят денег. И Татьяна счастливо и покорно согласилась со всем.

Об одном не сказал Митя, побоялся, что Татьяна все-таки заподозрит его в расчетливости, — о том, что их отцы — давние приятели.

4

Александр Лапшин выехал из дому ночью. В темени долгой снежной дороги, стараясь не думать о сыне, он заставил себя спрятаться в отвлекающее умиротворение воспоминаний.

Первые годы после окончания Горного института, вернувшись в родной Тополинск, Лапшин работал в отделе главного механика шахты. На третий участок его заманил бывший тогда начальником участка Герасим Воронов, однокашник, в детстве еще и сосед, неугомонный Воронов, с которым они организовали на шахте первую цикличную добычу.

Воронов был любителем шумных новинок, при этом еще умел и здорово работать. После рекордов по цикличности на него обратили внимание в тресте, он, что называется, стал подниматься в гору, куда-то уехал, а потом оказалось, что «ушел в науку».

Об этом много лет назад Лапшин узнал случайно, встретив своего бывшего начальника в родном городе на улице. Высокий статный Воронов погрузнел, но и в разговоре, и в движениях был по-прежнему резок. Оказалось,

что родители его, которых он приезжал проведать, так и живут на Партизанской — улице их с Вороновым детства. И уже садясь в трамвай, почти на ходу, Воронов сунул в руки Лапшину визитную карточку: «Заходи, звони! Буду рад!» На небольшой картонке красивым шрифтом было напечатано: «Г. И. Воронов. Доктор технических наук» и номера телефонов.

Конечно же, дома первым делом поведал Лапшин жене о необыкновенной встрече. В прошлом же году, когда сын Дмитрий после десятилетки собрался поступать в Горный институт, Ольга и вспомнила:

— Взял бы да как все добрые люди и отвез сам документы в институт, нашел бы Воронова. Люди вроде не чужие, а он доктор. За себя не умеешь слова сказать, так хоть бы за сына постоял...

Что верно, то верно! В глаза начальству Лапшин лезть не любил. Более того, при виде руководящих товарищей он терялся. И так было всю жизнь.

Случай с сыном, безусловно, был особый. Но Лапшин, не глядя жене в глаза, упрямо заявил:

— Я привык всегда все сам. Меня никто не подталкивал! Свою голову я ему не переставлю и унижаться не стану!

Ко всеобщей радости, все обошлось благополучно. Пока родители, то есть в основном мать, вели дискуссию о степени ответственности каждого за судьбу сына, сын Дмитрий успешно выдержал вступительные экзамены и заявился домой уже студентом Горного института.

Александр Семенович Лапшин все-таки не мог не полюбопытствовать, не встречал ли сын там Воронова. Оказалось, что профессор Воронов — декан факультета, на котором обучается младший Лапшин...

— Надо же, профессор! — восхищенно принял новость Лапшин и с не свойственным обычно ему азартом воскликнул: «Знай наших!»

— «Ваши»-то при чем? — язвительно поинтересовалась

жена. — Только и дел, что поначалу угольную пыль вместе глотали! «Ваши»-то гайки крутят, а вот люди в профессорах ходят!

— У Герасима башка всегда отлично варила, — привычно, не обижаясь, заметил Лапшин.

Потом всякий раз, когда случалось где-нибудь в разговоре упомянуть про Митькину учебу, не забывал вставить и о профессоре, с которым они когда-то вместе росли и работали на третьем участке. И надо заметить, что собеседники, среди которых находились и люди, помнящие инженера Воронова по тем годам, немало дивились такому обороту дела, да и сам Лапшин в простоте душевной дивился другой раз не менее их.

И все-таки Лапшин очень был доволен, что судьба сына решилась без чьего-то вмешательства, видя в этом какую-то родовую линию. Однако в телефонных разговорах отец порой интересовался: как там профессор? — на что сын обыкновенно отвечал в самых общих словах. И то: что он мог еще сказать? На глаза начальству Лапшин-младший не лез, тоже сказывалась родовая черта.

5

Александр Лапшин, так решительно заявивший жене, что намерен прежде всего встретиться с Вороновым, в начале своего пути в областной город переменил было решение, рассудив, что в первую очередь должен повидаться с сыном. Но в последние минуты, когда, изрядно поплутав по заснеженным улицам областного города, около пяти часов вечера остановил Лапшин свой «Москвич» у подъезда Горного института, он вдруг подумал, что искать ему все-таки надо Воронова. Потом приоткрыл дверцу. Ворвавшийся в тесную теплоту холод освежающе омыл лицо, взбодрил. Выйдя из машины, Лапшин с любопытством огляделся. На какое-то время он даже забыл, по какой причине оказался здесь, подле припорошенных сне-

гом широких ступеней, высоко поднимающихся к подножию длинного ряда колонн, — так всколыхнула его эта полузабытая картина.

Из широких стеклянных дверей выходили парни, девушки. Одни быстро, другие медленно спускались по ступеням, расходились в разные стороны. Когда-то и он, Лапшин, ходил здесь. Правда, двери были деревянные, кованные железом.

За все прошедшие годы, с тех пор как с дипломом горного инженера сошел он по этим ступеням, в институте побывать не пришлось...

— Я завтра с утра, старик, имей в виду, буду в читалке, — расставались двое парней невдалеке от Лапшина.

Разговор этот как будто подтолкнул его, и Лапшин заторопился вверх по ступеням к подножию колонн, у самых дверей досадливо сообразив, что из-за позднего времени может и не застать Воронова, но все-таки потянул на себя дверь.

Несмотря на то, что теперь его мысли сосредоточились на этом — «застанет — не застанет», он не мог не заметить мраморного блеска вестибюля и лестницы, по которой поднимался...

Высокие блестящие створки дверей приемной были распахнуты. Группа мужчин и женщин, видимо, в ожидании, оживленно переговаривалась.

«Совещание», — раздосадованно подумал Лапшин, растерявшись от увиденного им скопления людей. Нерешительно, каким-то извиняющимся тоном Лапшин поинтересовался все-таки: нельзя ли ему увидеть профессора Воронова...

— Вы же видите, товарищ, совещание, — небрежно объяснил мужчина в очках с аккуратной бородкой.

— Вижу, — уныло согласился Лапшин и, не ища сочувствия, а просто размышляя вслух, добавил: — дело у меня такое, я сам издалека приехал. Если б знать...

Один из мужчин, стоящий к нему спиной, обернулся, и

Лапшин с удивлением узнал в нем Воронова. Тот вначале тоже изумился, а потом заулыбался, широко раскинув руки, с радостным возгласом ринулся к Лапшину, обхватил его ручищами, затем резко отстранил, желая удостовериться:

— Здорово! Ты откуда взялся, Лапшин? Чувствую, голос как-будто где-то слышал, оглянулся — Лапшин стоит. Нет, ты откуда взялся?! У тебя дело к патрону?

Из кабинета вышла секретарша:

— Товарищи, проходите, перерыв окончен.

— Вот видишь, все заседаем, — досадливо вздохнул Воронов. — Увидимся еще? Ты где остановился? Запиши домашний телефон, созвонимся, у тебя хоть часок для друзей выкроится?

Лапшин, неловко улыбаясь, согласно кивал головой, но испуганно сообразив, что Воронов уйдет, а он так и останется один на один со своими заботами, торопливо заговорил:

— Да я, собственно, может быть, и к тебе, Герасим. Тут такое дело, понимаешь... Сын Дмитрий — ваш студент...

Широкие брови Воронова сдвинулись к переносице, потерев пальцем которую, Воронов с радостной догадкой воскликнул:

— Как? Подожди! Выходит, что Лапшин со второго курса — это твой сын? — но закончил фразу без особого восторга, — вот дела, брат.

По его тону Лапшин понял, что непоправимое и в самом деле произошло. Всю ночь, всю длинную дорогу думая о сыне, в душе, сам себе в том не признаваясь, он хранил все-таки надежду на то, что Давыдова чего-нибудь напутала и что Митькину шутку они приняли всерьез.

— Так значит в самом деле? — спрашивая, он бы очень хотел услышать разубеждения, но Воронов, взлохматив пятерней густые пряди, вздохнул:

— Ты только поспокойнее. Вначале — где остановился?

— Я же говорю, только что из машины. Но вообще, какое это имеет значение?

— Погоди-погоди! — предостерегающе поднял широкую ладонь Воронов, соображая про себя, — давай так сделаем: ты меня здесь ждешь, только обязательно ждешь, а я попытаюсь с шефом объясниться. И никаких возражений. Обо всем потом, договорились? — С этими словами Воронов заспешил в ректорский кабинет.

За то время, которое Лапшин дожидался Воронова в опустевшей приемной, возбуждение, вызванное встречей, успело пройти, и усталая сонливость тяжело придавила плечи, заломила спину.

Лапшину совсем стало неуютно сидеть в глубоком мягком кресле, занимавшем чуть ли не половину приемной. Однако Воронов, выйдя из ректорского кабинета, вдруг совсем по-мальчишески подмигнул Лапшину, плотно прикрыл дверь, прижав ее спиной.

— Пошли! Два зайца разом! — он был радостно возбужден. — Во-первых, ушел от говорильни, а самое важное — размазня Бикетов не подготовил документацию, на что, откровенно признаться, я и расчитывал! Наш же проект чин по чину давно обсчитан, нарисован! Шеф любит, чтобы бумаги были красивы! Что делать, у каждого своя слабость. Словом, на новое оборудование для лаборатории ассигнования выбиты наконец! Что было бы, если б все-таки Бикетов успел с документацией! Нам бы пришлось со своей темой идти ему в кильватер. Кафедра от этого бы немного потеряла, но ведь тогда в летнюю заграничную командировку должен был поехать Бикетов. Усекаешь, как теперь принято выражаться у наших молодых гениев?

Таким вот образом Воронов рассуждал все то время, пока они шли коридорами и переходами до его кабинета. Воронов так обрадовался встрече с Лапшиным и его так взбудоражила победа в ректорском кабинете, что он и не

задумался над тем, почему растерян и сумрачен Лапшин, почему он молча идет за ним.

А Лапшин, не вникая в суть вороновского рассказа, лихорадочно подыскивал подходящие слова к началу разговора о сыне, все более ощущая неловкость и двойственность своего положения, и когда вошли в вороновский кабинет, Лапшину ничего не оставалось кроме того, как попросить:

— Объясни же, что произошло! Почему парень из института ушел? Может быть, исключили?

В небольшом кабинете грузному Воронову было тесно. Его расстегнутый пиджак как бы тяжелил массивную фигуру, однако передвигался он в этом мизерном пространстве с легкостью, свидетельствующей о том, что Воронов по-прежнему все такой же энергичный и деловой. Лапшин же в пальто примостился на крайнем возле двери стуле, положив шапку рядом.

— То есть как ушел? Кто исключил? Ты, Александр, что-то путаешь... — Воронов уселся в кресло за стол: — Большие дети — большие заботы... — последние слова, было похоже, он произнес для себя.

— Разве ничего не случилось? — У Лапшина вновь мелькнула надежда и, преодолевая неловкость, он заторопился, объясняя: — Понимаешь, у одной знакомой дочка здесь в медицинском учится... — и сбивчиво, досадуя на себя за ненужные, как ему казалось, подробности, Лапшин поведал Воронову обо всем происшедшем вчера у себя дома. Выговорившись, он как бы обрел некоторое душевное равновесие и уже более спокойно подытожил:— Ты бы, Герасим, Ольгу увидел после всего этого...

— А, кстати, как она — здорова?

— Уезжал, вроде бы ничего — успокоилась. Конечно, внешне. Плакать хоть перестала.

— Как ушел? — Воронов, по всему было видно, удивился лапшинскому рассказу. — Ушел из института? Но о пропуске лекций мне неизвестно. А с этим у нас строго.

Что же касается происшествия, то, уверяю, оно беспокойства не заслуживает.

— Значит, все-таки что-то случилось? — Лапшин все более приближался к естественному своему состоянию. Растерянность уступала постепенно место твердой рассудительности. Он потянул с шеи шарф, и Воронов лишь тогда заметил, что гость его сидит в пальто.

— Разделся бы ты, — предложил Воронов Лапшину. — А произошло?.. Банальная, в сущности, история! Во всяком случае, ничего трагического в ней не вижу... Есть у нас на том же курсе один тип. Откровенно признаюсь, моя бы воля, на пушечный выстрел к институту не подпустил... Но... есть «но», понимаешь... Короче, этот тип заявил, что Лапшин, то есть сын твой, набил ему физиономию. История путаная, с тряпками там, джинсы, «фирма́», как теперь принято говорить. Но и это бы полбеды, однако, они еще и дрянь какую-то распивали. Нет, не пьянство, с этим у нас строго... Но факт, да с учетом всяких обстоятельств... Словом, мы их наказали: сняли со стипендии, по-моему, четверых. Всего лишь — заметь! Сняли со стипендии. — Воронов в недоумении развел руками, но, взглянув на Лапшина, неожиданно предложил: — Слушай, а давайка мы с тобой сходим в общежитие да найдем твоего драчуна! И перестань ты кваситься, поверь мне, все образуется. А потом все вместе к нам махнем! Слышишь? Никаких гостиниц! Вот Люба обрадуется! — неожиданно хохотнул Воронов. — Она вообще хозяйка хлебосольная, а я ей такого гостя привезу...

— Может быть, лучше в гостиницу? Я на машине, — этим странным аргументом Лапшин попытался отговориться, потому что в теперешнем своем положении считал гостевать не особенно удобным. Но Воронов и слушать не хотел.

— Чудак ты, Сашка, тебе что, думаешь, там гараж приготовили? Мы мигом! — уже в пальто он вернулся к столу, стал куда-то названивать, и после непонятных Лап-

шину напоминаний и намеков в телефонную трубку, кладя ее на место, удовлетворенно заметил:

— Сейчас в институтский гараж загоним твой лимузин — и в общежитие. Это недалеко...

Дежурный по общежитию парень при виде вошедших, в одном из которых он сразу узнал Воронова, торопливо вскочил и, волнуясь, сбивчиво объяснил, что в триста пятой никого нет. Но Воронов предложил своему гостю подняться наверх. Они заглянули в одну, другую комнату. Воронов спрашивал у ребят о Лапшине, но никто не знал, где его искать, хотя еще недавно его видели...

Уже одно то, что он был в доме, в котором живет его Митька, встретился с ребятами, которые его недавно видели, успокаивающе подействовало на Лапшина, а Воронов на правах хозяина показывал «товар лицом».

— Заметил, как они у нас тут живут? По-королевски! Не то что «шанхай», помнишь?

Почему-то тогда в студенческом обиходе так именовалось общежитие, в котором в комнатах проживали по 12—15 человек. Располагался «шанхай» невдалеке от шумного и грязного базара, на котором в стипендию «горняки» покупали сало, картошку и орехи...

— Сейчас на том месте, — перехватил взглядом улыбку Лапшина Воронов, — у нас плавательный бассейн. Все собираюсь спортом заняться, врачи рекомендуют. Справки всякие однажды уже собрал, а времени все нет.

Они спустились на первый этаж. Воронов заставил Лапшина посмотреть красный уголок и наказал дежурному:

— Пусть студент Дмитрий Лапшин позвонит профессору Воронову. На квартиру.

Заснеженные улицы невольно развлекли Лапшина яркой освещенностью, игрой рекламного цвета, непривычной людностью... Воронов же объяснял: «Это почтамт, его ты должен помнить! А вот здесь улица Мира, в наши годы по ней ходил единственный в городе трамвай!»

Так в веселом говоре одного и удрученном молчании другого дошли они до набережной, вдоль чугунной ограды которой роились в снежных искрах шары-светильники, свернули в аллею и оказались во дворе высоко уходящего в темноту этажами дома.

Жена Воронова искренне обрадовалась гостю. Восторженно вскрикнув, прижав пухлые кулачки к высокой груди, она говорила:

— Бог ты мой! Лапшин, Саша! Да откуда же ты взялся?! Дай я на тебя погляжу! Вы там, в Тополинске, совсем не старитесь! А Ольга? Она не приехала?

При других обстоятельствах и Лапшин был бы удивлен и обрадован не менее ее, но сейчас он напряженно улыбнулся:

— Я, Люба, и сам-то неожиданно оказался здесь...

— Конечно, все дела, у всех дела! Из-за них нам вечно некогда, — весело посетовала хозяйка дома — Да ты раздевайся. Герасим, помоги! Нет, в самом деле, Лапшин! Всю жизнь не виделись, и так вдруг. Я очень изменилась? Не узнать? Старая толстая баба?

— Так уж и старая! Просто похорошела до неузнаваемости. Прямо такая вся... — Лапшин сконфузился оттого, что комплимент не получился. Хозяйка звонко рассмеялась.

— Вот-вот, именно такая, — она широко обвела вокруг себя руками. — А Ольга, как она выглядит?

— Наверное, как все... — Лапшин неопределенно пожал плечами.

— Рассказывай... она же красавица! Одни волосы чего стоят, — вспомнила Люба.

— Волосы уже давно обрезаны. Сейчас она красится.

— Без краски нам, Лапшин, теперь нельзя, — Люба коснулась коротенькими пальцами своих рыжих кудрей. — Герасим-то, видишь, совсем выцвел, а ты вроде бы и не прожил этих двадцати лет!

Воронов, с удовольствием наблюдавший эту сцену, стал рассказывать:

— Ты понимаешь, Люба, стоим в приемной у патрона, он собрал нас по поводу предстоящей межвузовской конференции, слышу за спиной робкий голос, оборачиваюсь — и представь себе — вижу живого Лапшина. Он, оказывается, на «Москвиче» по такой погоде прикатил...

— Тогда разговоры оставляем для стола. Сейчас — умываться! Саша, Герасим тебе все объяснит, я на кухне! — распорядилась хозяйка. Хозяйка управилась очень быстро, и буквально через несколько минут они уже сидели за столом в со вкусом обставленной и ярко освещенной большой люстрой гостиной.

— Чехословацкий хрусталь, — перехватив прищуренный взгляд Лапшина, похвасталась Люба.

— У нас, по-моему, такая же, — неуверенно сказал Лапшин, более всего для поддержки разговора.

— Не может быть! Я в восемьдесят втором ездила по турпутевке в Чехословакию и сама там выбирала, — с милой улыбкой удивилась Люба. Она успела не только накрыть стол, но и переодеться.

— Ольга доставала ту люстру. Она сейчас в Госстрахе работает. Знакомых у нее везде полно. А, может быть, я и ошибаюсь, — Лапшин не хотел расстраивать хозяйку, — я в этом не очень разбираюсь. — Он, кстати, говорил совершенно откровенно, как откровенно же заметил: — а вообще, знатно живете! Шпроты, копченые колбасы, язык — сразу видно, что наука в почете!

На что польщенная хозяйка ответила:

— Не так уж много у нас профессоров, Саша. И потом, с лекциями за границу и столичного не каждого профессора посылают.

Но Воронов не дал жене договорить:

— Об этом успеем, Люба! Кстати, ездили мы с отцом того самого парня, Саша, с которым твой отпрыск законфликтовал. Но не об этом сейчас речь. Давайте выпьем за

встречу! С приездом тебя, Александр Семенович, дорогой ты наш друг!

Именно в этот момент, когда Лапшин, взбодренный несколькими рюмками коньяка, испытал потребность заговорить, хозяйка, словно угадав его желание, поинтересовалась сама:

— Какие такие заботы погнали тебя из дому, Александр? Если это, конечно, не производственный секрет. У Герасима от меня всегда бывают секреты.

— Какой уж секрет, — видя в глазах Любы не только любопытство, но искреннее доброжелательство, поторопился с ответом Лапшин, — не было бы счастья, да несчастье помогло. Сын Дмитрий в Горном, вроде, учится, фокус отмочил.

— Ваш Митька — студент? Такой карапуз был, помню. — И хозяйка поинтересовалась: — А почему ты говоришь «вроде»? Что-нибудь произошло? Герасим, ты, по-моему, ни разу не обмолвился о том, что сын Лапшина у вас...

— Да я сам этого не подозревал, пока отца в приемной не увидел, — коньяк располагал Воронова к благодушию. — Представь себе, сколько тысяч фамилий проходит. Ну, Лапшин, ну и что? А ты, Лапшин, не дорожишь дружбой, нет! Разве не мог хотя бы позвонить, коли увидеться у нас времени не хватает?!

— Действительно, — поддержала мужа Люба, — чужие люди телефоны разбивают, ночь-полночь, а свои... Ольга бы со мной связалась, она же мать!

— Был у нас дома об этом разговор. Но Митька вступительные сдал хорошо. А лишний раз в глаза лезть... Все-таки профессор! — при последних словах Лапшин засмеялся, пытаясь свести неприятную для него тему к шутке, но Воронов ее не принял:

— Вот это ты зря... — чистосердечно заметил он, — для Лапшина я прежде всего друг. И мы не из кичливых...

— Конечно же, мы частенько вас с Ольгой вспомина-

ли. И собирались как-нибудь приехать, а вот видишь, что вышло, — стал оправдываться Лапшин.

— Что же, собственно, произошло? — спросила Люба.

— Да пустяки, — Воронов наполнил рюмки, — его Митька подрался с сыном Латунина в общежитии.

— Вот уж диковина. Да они же мальчишки, ну и подрались. Не на ножах же, надеюсь?

— Лапшин у Латунина выиграл в преферанс джинсы, как выяснилось, а тот не захотел отдавать.

— Еще бы, ему их, конечно, отец из Штатов привез!

— Не знаю происхождения, но для порядка мы всю компанию — там было четверо — наказали: лишили стипендии.

— А про карты ты мне не говорил, — растерянно напомнил Лапшин.

— Бог ты мой, я не думаю, что все это серьезно. Мальчишка, любопытство. Тем более, он должен неплохо учиться, иначе бы я с ним был ближе знаком, — усмехнулся Воронов. — Нерадивых я всех в лицо знаю. Так что не вижу особых причин для отчаяния. Ты прости, Саша, но мы тоже были студентами, забыл? — убеждающе успокаивал Воронов.

— Только в преферанс на вещи не играли...

— Это верно. Зато у нас «коробочка» была, на щелчки играли. Такое подкидывание спичечного коробка, — объяснил Воронов жене, и на лице его мелькнула озорная улыбка. — А помнишь, Лапшин, как за эту самую «коробочку» тебе пришлось щитки электрических схем монтировать? У Струганова, помнишь?

И неожиданно от этого «помнишь» приятели с восторгом и упоением пошли тропинками прошлого, пока требовательный голос телефона не напомнил о нынешних заботах.

6

Телефонный разговор хозяина дома не то чтобы очень затянулся, однако в отсутствие Воронова Лапшин опять почувствовал неловкость. Он мысленно корил себя за то, что так бездумно согласился на приглашение Воронова, вместо того, чтобы подождать сына в общежитии. О том, что Митя там уже не живет, старший Лапшин и не предполагал.

— Почему Митька смолчал? Так, мол, и так, такое произошло. На душе-то, наверное, у него кошки скребут... — Этот вопрос Лапшин задал больше самому себе, но Люба тотчас откликнулась:

— Господи, Саша, это же элементарно. Прежде всего испугался. Да и стыдно, наверное, стало... — Люба явно пыталась его успокоить.

— Стыдно? Стипендии лишили? Мог, скажем, просто экзамен завалить! С кем не бывает? Нет, здесь не то. Тысячу рублей на стереомагнитофон требовать не стыдно?! Нет! Тут другое! Какой там стыд? Тут другое... Мы когда в семье росли, у нас это было, как бы сказать, как картошка в кусте. Каждая вроде бы врозь и в то же время вместе, в одном гнезде. А вот в нынешнем нашем доме, в нашей благоустроенной трехкомнатной квартире, дела обстоят по-другому. У дочери — своя комната, в которую нам с матерью вроде бы и заказано появляться, особенно, если там у нее гости магнитофон крутят! У Митьки, сопляка, своя сберкнижка! Конечно, деньги на нее положил я — к совершеннолетию подарок. А он заявил: «Коли это мои, что хочу с ними, то и делаю!» Магнитофон импортный купил. Ну да бог с ним. Но ведь что же получается, смотрю я? Похоже на то, что этот свой огород жизни я теперь в одиночку засаживаю, не так как у нас в детстве — всей семьей! А за стол-то садятся все! И в последнее время почему-то иногда мне бывает себя жалко, — эти слова для самого Лапшина оказались столь неожиданными, что

он ненадолго умолк, пытаясь вникнуть в суть сказанного им самим. Слова эти прозвучали для самого Лапшина грустным откровением, и он заторопился объяснить их: — Не трудов, не денег, — я же с радостью все для семьи делаю, с радостью! — жалко мне себя просто как человека бывает. В чем тут дело? Сядем мы в другой раз с матерью, поглядим, а у них что-то все охраненное от нас, — какие-то чужие в доме!

— Это кто же чужие в доме? — входя в комнату, Воронов услыхал последние слова.

— О детях я о своих тут разоткровенничался, — оглянулся на его возглас Лапшин.

— Кстати, о детях. Звонила Татьяна, наша дочь, — объяснил Лапшину Воронов, — объявила, что ночует у Семыкиных: срочные переводы будут делать. Ты, брат, паникуешь! Просто не понимаешь времени. А мы нашли частичное решение проблемы! Не диктаторствуем, не сковываем инициативу, — проходя к столу, весело заговорил Воронов, — в результате: и приобщение к самостоятельности, и ответное, — не скажу, почитание родителей, на чувства, — это ты верно заметил, — наши дети скуповаты. Но признание нашего авторитета налицо. А это уже великое дело! Подспудно, но все контролируется и направляется нами. На изучении языков мы настояли, и вот — сам слышал! Лучше все-таки бесцельного «балденья», как они сами это называют. — Тираду свою Воронов проговорил веселой скороговоркой, закончив коротким беззаботным смешком, может быть, немного резковатым и обрывистым, оттого и какая-то пауза случилась, пока он усаживался за стол. Почему-то неприятная пауза. И чтобы разрядить ее, Лапшин решился отшутиться в тон хозяину:

— А мы все, видать, по-старинке... — он не умел притворяться в разговорах, хотя и принудил себя улыбнуться. — Тоже ведь хотели как лучше, — Лапшин обернулся к хозяйке, ища у нее понимания или сочувствия.

Люба вроде бы согласно кивала головой, но по ее су-

зившемуся взгляду Лапшин вдруг уяснил для себя, что и в этом доме не все так просто, как объяснял Герасим, и почудилось ему, что появление его здесь каким-то образом еще и усугубляет, бередит эту рану. Спасительно было ухватился за мысль о гостинице, но хозяйка опередила его:

— Я, Герасим, пойду постелю Саше в твоем кабинете, а то гость у нас совсем еле сидит и из приличия помалкивает.

Люба поспешно поднялась из-за стола, как будто она не то что не хотела продолжения разговора, а просто боялась его.

7

Как только за женой закрылась дверь, Герасим, будто бы она с собой унесла бодрость, как-то огруз, ссутулился и, не поднимая глаз от столешницы, произнес в общем-то пустую фразу:

— Такие-то дела, брат!

Лапшину же услышалось в ней как бы приглашение к откровенности, а не сострадание, не притворное сочувствие. Не великий мастер на разговорные хитрости, Лапшин чистосердечно спросил:

— А делать-то что, Герасим? Быть-то как? Жил вот я, жил. Все было ясно, просто, и вдруг такое...

Запамятовал Лапшин, а ведь нечто подобное у них в доме уже случалось: когда Митька учился в 8-м классе, в ночь под старый Новый год. Посреди ночи его разбудила жена, испуганно сообщившая, что уже четвертый час, а сына, ушедшего, как бывало, вечером погулять, до сих пор нет дома. Запамятовал Лапшин, как они в растерянности молча сидели друг против друга с Ольгой, как он потом стал звонить по телефонам, которые в те годы в Тополинске были наперечет.

Спросонья одна женщина испуганно попросила Лапшина: «Подождите минуточку, посмотрю, наш-то на месте?!» После того, как услышал в трубке удовлетворен-

ный шепот: «Господи, из ума с ними выживешь! Спит, конечно, сама ведь в ванную заталкивала, — и непонятно почему, извинилась: — Вы уж нас простите», — на Лапшина вдруг напал страх от невозможности что-либо предпринять, как-нибудь защитить сына. От чего, от кого — он не знал, да и не это важно было, важно было другое — где-то в темной ночи их сын впервые в жизни оказался один!

Едва позывные радио, пробившись сквозь, казалось, нескончаемую ночь, оповестили о приходе утра, Лапшин, не отдавая себе отчета в поступках, бросился в коридор, оделся, стал искать ключи от гаража, от машины... Их не было! — и тогда-то, может быть, в те минуты и появилась в волосах Лапшина первая седина, потому что другой мысли, кроме как о случившемся несчастье, уже у него быть не могло.

Дежурный по райотделу милиции, куда немедленно стал звонить Лапшин, спокойно сказал, что ночных автоаварий зарегистрировано не было. В больнице Митьки тоже не обнаружилось. Еще долгих полдня Лапшин с женой провели в молчаливом испуганном ожидании.

Возвратившийся сын, насупившись, бубнил о том, что все равно они бы не разрешили ему взять машину, а он договорился с ребятами поехать к Игореву деду в деревню праздновать старый Новый год... А на вопрос матери, почему он о родителях не подумал, с ухмылкой ответил: «Я думал о том, хватит ли бензина на обратную дорогу...»

Кажется, с тех пор без явной ли, тайной подобной ухмылки Митька в доме не разговаривал. Она всегда обескураживала Лапшина в редких его разговорах с сыном, которые он заводил большей частью по настоянию жены. Парень словно бы отгораживался той улыбкой, а переступить эту гримасу Лапшин не умел. И на глазах его сын уходил в чужие!

Строго говоря, не Митька уходил — это приходила чужая жизнь. Она неприметно, но упорно и неотвратимо проникала во все щели многоэтажного бытия, огорожен-

ного телеантеннами и гаражами, увлекала вожделением приобретательства, обволакивала сладким ядом себялюбия и энергичной соревновательностью каждого против всех. Она до поры до времени могла казаться всем признаком людского счастья. Но обман этот, как всякий обман, в конце концов оказывался очевидным, и недоумевал тогда человек: «Отчего же все это? И как же жить дальше?»

Именно эти слова произнес Лапшин. И не только Воронову был этот вопрос, не ему одному, и Герасим понял это. Но в отличие от растерянного Лапшина Воронов на этом гребне жизни чувствовал себя уверенно, точнее сказать, Герасим, как ему казалось, никогда не терял жизненного ориентира.

— Знаешь, Саша, если откровенно, по душе говорить, — Воронов поправил растопыренными пальцами спавшую на лицо седую прядь волос, — а порой так хочется с самим собой откровенно поговорить, бывает у тебя такое?

— Как тебе сказать... — засмущался Лапшин, потому что он не совсем понял, чего хочет Воронов, — я человек маленький, но всю жизнь прожил честно, так что...

— Ты всю жизнь был идеалистом, Лапшин, это тебе и мешало. А может быть, и наоборот, но не об этом сейчас речь. — Герасим, чувствовалось, переживал какое-то внутреннее борение. — Не об этом... — повторил он, как бы убеждая себя в чем-то. — О детях. О том, почему они для нас вдруг чужими оказались, а? Я, Саша, тебе откровенно скажу, и у нас в доме есть свои проблемы в этом плане. Татьяна, наша дочь, учится на заочном, с ее знанием иностранных языков — работает распространителем билетов в театре оперетты. Вот видишь, и тебя это шокирует, — заметив удивление на лапшинском лице, отметил Воронов. — А представь, каково было нам с Любой? Дочь профессора Воронова — и на тебе. Выходит, недоглядели?

Удивительное дело! С тысячами студентов справляюсь, к моему голосу прислушиваются в решении государственных вопросов, от которых зависят судьбы миллионов людей! Да, без преувеличения — миллионов! Ну, например, Казейское месторождение угля, его добыча открытым способом. Там уже поселок строят, с перспективой на город, не говоря уже о разрезе. Уголь стали брать практически с самого начала строительства. Небывалая фондоотдача. Я по этому проекту был экспертом.

— Слышал я о Кайзасе, — подтвердил Лапшин, — правда, говорят, с дорогой там неважно, уголь вывозить не по чему.

Но Воронов махнул рукой:

— Издержки освоения нового неизбежны. Я ученый, не забывай, я генерирую и обосновываю идеи. Но сейчас то я о другом. О том, что мой авторитет, моя воля, наконец, не сработали в самом простом: в том, чтобы воспитать дочь так, как хотелось. Выходит, или я чего-то недопонимаю в сегодняшней жизни, или раньше что-то делал не так? Вот ты за сына испугался, сочувствую, мы вначале за дочь тоже испугались. Они ведь теперь рано взрослеют. Не то, что мы. Они взрослеют и телом и умом. Тренинг! С детства тренинг: физический, интеллектуальный — радио, телевидение, кино, спецшколы, спортзалы, НТР, сексуальная революция, — если нам во всем этом надо выжить, им же надо прежде утвердиться, не только найти себя, но убедительно и доказательно для окружающих обосновать это. В наше время было достаточно только найти себя, теперь же с этой находкой ты преспокойно можешь проторчать где-нибудь в житейском тупике, если не обладаешь достаточной коммуникабельностью, скажем, или трамплином авторитета родственников.

В обществе, может быть, и незаметно кое для кого, как в хоккейном матче, прямо на поле жизни, в ходе игры происходит смена в командах. На поле выходят лидеры, и наша родительская забота чисто тренерская: так подгото-

вить своих детей, чтобы они вписались в команду классных игроков. Но и это еще не все: надо суметь их вовремя выпустить. Вот в чем мы еще не преуспели, Лапшин. И вот где нам без взаимной выручки не обойтись. И в этой связи то, что ты ко мне приехал, — это правильно. Мы, слава богу, начинаем понимать, что жизнеспособность общества — это не столько теоретический коллективизм, сколько практическое проявление человеческого таланта в любой отрасли. Главное для общества — направить энергию деловых людей в нужное русло. Здесь, правда, нужен жесткий контроль, ведь одно из важнейших свойств человеческих конструкций — замыкать на себя, аккумулировать, как мы теперь говорим, общественные фонды.

Ты, Саша, случайно, не помнишь Бодуна — нищего с нашей улицы, все в солдатской шинели ходил?..

— Чего же не помнить... — удивился Лапшин, — нас, пацанов, им пугали. Только к чему ты его вспомнил?

— А вот к чему. Я как-то в гости к родителям в Тополинск приезжал, и пошли мы с матерью в перелесок за вениками. А избушка Бодуна там ведь, в конце лога была. Со стороны улицы она вся крапивой да бурьяном заросшая. А с другой — маленький зелененький дворик просматривается, с черемуховым кустом. И гляжу: лежит под этим кустом в белой рубашке здоровый мужик — газету читает.

— Что, говорю, мам, Бодун-то помер? Тут вроде как дачник поселился.

— Да нет, — смеется, — у него сегодня выходной, это он сам и есть. А спецодежда вон — сушится.

Гляжу, на веревке и вправду шинель его знаменитая висит. И главное, солдатская шапка: та самая измызганная ушанка, в которую ему копеечки бросают!

А мать-то и говорит:

— Ты чего дивишься, сынок? У Бодуна-то милостыню собирать — заместо работы. Он и картошки-то не садит — к чему? Вот отец наш, к примеру, в шахте добычу дает,

а у него добыча на магазинном крыльце! Кому копейку жалко? Без нее не обедняешь, ему, вишь, на белую рубаху выходит!

Тогда я посмеялся, а вот теперь соображаю, что Бодун был просто-напросто изобретательный, деловой человек, психолог. Он не виноват, что общество не сумело использовать его организаторский талант. Мы и сейчас еще этого не умеем по-настоящему. А в том, что общество именно на нас, на талантах, держится, — в этом сомнений нет. Я как-то подсчитал, что вышло: в среднем мои основные изобретения дали более 15 миллионов рублей экономии. Ты представляешь? Это не считая моей работы как преподавателя, как общественника. Ну раз я обществу необходим и выгоден, оно ведь тоже должно заботиться обо мне? А к сожалению, и это у нас еще обстоит далеко не самым лучшим образом. Приходится другой раз свое время и свою энергию поэтому совсем не по назначению расходовать: не на созидание, а на самообеспечение. А ведь и с этой стороны мы должны позаботиться о своих детях.

Кстати, с дочерью я все-таки определился. Внешне делаем с женой вид, что нас ее общественное положение не волнует, но всячески поддерживаем увлечение иностранными языками. Ездила она у нас по специальному маршруту за границу, я ей кое-какие престижные переводы и знакомства устраиваю. Правда, мать очень беспокоится по поводу ее ночевок у подруг, случается, по нескольку дней только звонками и общаемся, но я считаю, главное — выиграть психологически, и думаю, мы это сумеем. Со следующего учебного года я для нее в спецшколе (школа на особом контроле, под особым вниманием) место зафрахтовал. Непросто это было, но чего для ребенка не сделаешь?

Вот ты же, Саша, примчался из-за Митьки сюда, и я тебя понимаю! Кстати, ты не очень расстраивайся, что он не позвонил. Надо было просто номер телефона оставить и все. А то, небось, как узнал про телефон профессора

Воронова, так поджилки и затряслись. Нет, помаяться нам еще с ними придется, пока в люди-то выведем. А не поможем — сильные оттолкнут! Тут ничего, брат, не поделать, время лидеров настоятельно идет!

Может быть, Воронов и еще бы говорил, но дверь в комнату отворилась и вошла Люба, и уже от порога она замахала руками, притворно-испуганно заохала:

— Извини, Саша, оставила я вас тут одних, а Герасим, наверное, совсем тебя заговорил. Он без выступлений не может. Герасим, ты разве не видишь, как гость устал?

Лапшин и в самом деле чувствовал себя неважно. Поэтому он очень обрадовался предложению Любы пойти отдыхать.

Вороновы вместе проводили Лапшина в герасимовский просторный кабинет, где для него уже была застлана белыми простынями широкая тахта.

8

В квартиру из окон втекла шуршащая полумгла городской ночи. Разбавленная изредка то приближающимся, то удаляющимся тарахтением моторов, затаила беспокойство, сосредоточилась в ожидании.

Воронов открыл глаза. Как будто бы и не спал. Рядом тяжело и протяжно дышала жена. Осторожно, чтобы не разбудить ее, встал. Сунул ступни в шлепанцы — вышел из спальни. Не так уж часто бывало с ним подобное, и ночью курить он стал только в последнее время, для чего и держал в прихожей на тумбочке под зеркалом сигареты и спички.

В черном зеркальном проеме он увидел сутулую фигуру, совсем не похожую на того подтянутого, резкого в движениях Воронова, который по утрам, шумно собираясь на службу, непременно на секунду-другую задерживался перед зеркалом.

Воронов, разминая сигарету, вспомнил о Лапшине, но подумал, что тот уже спит, и повернулся, чтобы пойти в кухню, и тут взгляд его уловил в глубине, там, где блеск стекла будто бы густел, очертания второго силуэта. Воронов пальцами ног ощутил липковатую стылость подошв шлепанцев, с раздражением подумал, что могла бы жена уже и заменить это старье, а между тем силуэт не пропадал. Холодок мелкой дрожью забился внутри сбивчивым перестуком о нижнее левое ребро. Воронов, не отрывая взгляда, попятился и вдруг спиной толкнулся во что-то мягкое, ощутив шеей колкое прикосновение ворсинок. Он резко обернулся, протянул руку. Ладонь уперлась в висевшее на вешалке пальто. Теперь он узнал его — это было осеннее пальто дочери. Ноющая боль от нижнего ребра поднималась вверх. Герасим не испугался боли. Ранее посещающий врачей только в дни профосмотров, получения курортных карт или справок, разрешающих заграничные командировки, он в последнее время сжился с изменением в кардиограммах, носил в нагрудном кармашке твидового пиджака металлический цилиндрик с валидолом, и потому с некоторым даже отстранением констатировал:

— Завелся через край. Совсем самоуправление растерял!

Естественно его мысли повернулись к недавнему разговору с Лапшиным, и он с сожалением и удивлением сообразил, что, в сущности, о своей жизни, о личных делах (а сколько лет не виделись-то!) так и не поговорили. Получалось, что уже и не важна сама по себе для них их собственная судьба, напрочь замкнувшаяся на Митьках и Татьянах.

«Может быть, в этом и есть горький, но главный смысл жизни нашей», — раскуривая сигарету, попытался успокоить себя Воронов. Однако это вышло у него как бы продолжением разговора с гостем, и не успокоение, а раздражение появилось вслед за тем.

— И чего это я кисну? Мало ли мне приходилось благоустраивать этих разгильдяев, — уже даже рассердился Воронов, — Сашка Лапшин хоть сам порядочный человек. Да и об его отпрыске в институте и в самом деле не было никаких предупредительных сигналов, кроме, как выяснилось, этого инцидента с Латуниным.

Вот уж кто крови (вместе со своим папашей) попортил Воронову! И не только в институте. Одно время этот нахальный молодец настолько зачастил к ним в дом (слава богу, это прекратилось!), что они с женой уже стали опасаться, как бы он еще и в зятьях не оказался.

Будущему замужеству дочери в выработанной когда-то Вороновым схеме семейной жизни отводился, так сказать, завершающий аккорд. Однако, похоже было, что сама Татьяна (она, конечно, в родительские планы не посвящалась) к этому вопросу относилась если не безразлично, то по крайней мере несерьезно, со свойственной всем теперешним молодым легкостью. Как, собственно, и к самой жизни вообще. И это-то, в чем Герасим себе никак не признавался, не только подтолкнуло сердце к валидоловой поддержке, но и ощутимо расшатывало весь вороновский семейный монолит, удачливо и упорно возводимый Герасимом многие годы.

Герасим был вдохновенным строителем. Он никогда не обижался на судьбу, и вовсе не потому, что она не строила ему козней. Скорее наоборот, и случалось это тем чаще, чем он выше поднимался к вершине житейского благополучия. Вершину же эту Воронов разглядел еще в студенческие годы. Но именно препятствующие обстоятельства и вдохновляли Воронова-бойца. В преодолении их он находил радость ощущения силы собственной воли, изощренности и ловкости ума.

Воронов никогда не строил иллюзий относительно своего вклада в науку. Просто по сравнению с шахтой, так он определил, для него, человека предприимчивого и деятельного, здесь было больше возможности развернуться, как

он любил говорить, с наибольшим КПД для общества, имея в виду прежде всего, что общество состоит из индивидуумов.

Вначале (принимая в расчет положение аспиранта и ассистента на институтской кафедре) Воронов и не скрывал этого. Подчеркнуто афишируя свою зависимость от научного мышления шефа. Эта житейская бесхитростность ученика («Ну кто еще, кроме вас, такое сообразит, шеф!»), его трудолюбие (Воронов мог чуть ли не сутками не выходить из лаборатории, при необходимости ловко управляться и с молотком, и с паяльником, и с автогенным аппаратом) позволили ему не только удачно закончить аспирантуру, но и обрести начальный авторитет бескорыстного оруженосца рыцарей науки. Кроме того, оказался Воронов и активнейшим общественником: в комитете комсомола добровольно вызвался возглавить бытовой сектор, и от него потом самим комитетчикам не было покоя. Воронов был безотказным исполнителем, а по сути терпеливым выжидателем своего часа. И он настал. Когда проректор по науке в доверительной беседе прямо сказал, что считает вороновского шефа человеком бесперспективным, Воронов возражать не стал, как не отказался от должности завлаборатории. («Сами понимаете, — сказал он своему бывшему шефу, — я человек невысокого полета, я не решаю, я только исполняю решения!»). Кроме всего прочего, эта должность позволила благополучно разрешить и квартирный вопрос.

К этому времени Люба, жена, работавшая в заводской поликлинике, перешла в городскую санэпидемстанцию. С этим помог один вороновский знакомый, сын которого дважды поступал в Горный. Воронову в конце концов удалось его пристроить в институт культуры (сам он там оформлял и комплектовал фотокинолабораторию). Таким образом жизнь, наконец, вошла в ту колею, когда пришло время самым серьезным образом задуматься о будущем.

Вороновы долго не могли позволить себе иметь ребенка, и потому Татьяна со дня своего появления стала фокусом всех их помыслов и мечтаний. То есть она стала своеобразным символом, с одной стороны, как бы взымания долгов с жизни («мы так не жили, так хоть пусть ребенок!»), с другой, как бы постоянным катализатором удовлетворения честолюбия («Все-таки не чья-нибудь, а профессорская дочь!»). Московские, заграничные игрушки («папа привез из командировки!»), южные и заграничные курорты, спецшколы, домашние учителя музыки — все это для Татьяны было естественным полем жизни, как и то, что незаметно для нее самой мать строго следила с самого детсадовского возраста, чтобы «у дочери профессора Воронова знакомые и друзья были из подходящего круга». Исподволь, но непреклонно гнула Люба эту линию, и потому даже студенческие вечеринки, как ни противилась душа, она разрешила проводить у них в квартире или на даче, утешая себя, что все-таки все это под ее материнским присмотром.

Окончив второй курс инъяза, Татьяна съездила по турпутевке во Францию (подарок родителей), а по возвращении вдруг объявила о своем решении пойти в распространители билетов.

Это был гром среди ясного неба. Люба корила себя за то, что сама воспитывала в дочери любовь к театру (вместе они ходили на все гастроли и местные премьеры), пыталась объяснить Татьяне ее жестокость по отношению к родителям, но дочь, всегда послушный ребенок, вдруг оказалась упрямой и непреклонной. Как ни странно, Люба же первая примирилась с этим, не смирилась, а заняла выжидательную позицию, не теряя надежды на то, что блажь в конце концов пройдет. А вот Герасима поступок дочери, можно сказать, подкосил. Он вдруг потерял уверенность, целеустремленность, с которой жил все эти годы. Он слег в больницу. Это, правда, всеми связывалось с нервным переутомлением: закончили огромную хоздого-

ворную работу, пробили, наконец, публикацию монографии, по поводу чего одних поездок в Москву у Герасима было не менее шести чуть ли не подряд, и при этом же была и преподавательская работа, и руководство факультетом, и не скинешь со счетов и лекции по линии общества «Знание», где он еще был и членом методического совета. Так что причин для нервного переутомления было предостаточно. Но Люба-то знала, хотя Герасим сам в этом не признавался, что главная причина в дочери. Она же уговорила Татьяну оформиться хотя бы на заочное отделение.

В конце концов внешний мир наступил в вороновском доме. Воронов нашел в себе силы как бы не замечать происходящего. Даже того, что в последнее время Татьяна как-то часто стала пропадать из дому. Регулярно, вечером, она звонила, сообщая об очередном занятии переводами то с английского, то с французского (это тоже была инициатива матери — обучать дочь иностранным языкам) где-то на дому у подруг. Люба понимала, что это скорее уловка, но она была склонна думать, что Татьяне все-таки тяжело видеть постоянную осуждающую угрюмость отца. Веселого говоруна Воронова как подменили. Люба очень от всего этого страдала, но была бессильна что-либо предпринять. Она все надеялась, что вот-вот все изменится к лучшему. Это ведь она уговорила Герасима и турпутевку по спецмаршруту для Татьяны достать, и позаботиться о ее будущей работе в спецшколе. Она даже осторожно намекнула дочери об этом, и обнадеживающий признак: Татьяна в том разговоре уже не была как обычно категорична в своем возражении.

Люба совсем и не спала. Она слышала, как Герасим поднялся и пошел курить. Но она не остановила его. Понимала: разговор с гостем расстроил мужа.

Увидя Александра Лапшина в дверях, она искренне обрадовалась, как обрадовался и Воронов встрече с ним в институте. И оба они с мужем были искренними, когда

укоряли Лапшина в том, что он не хотел воспользоваться их старым знакомством при устройстве Митькиной судьбы. Однако самое их теперешнее домашнее положение и метания бедного Лапшина настолько были схожи в своей какой-то глупой неотвратимости, и так они горестно растормошили их собственную семейную рану, что Люба с радостью ухватилась за мысль предложить гостю пойти отдыхать и была в душе благодарна Лапшину, что он не уступил настояниям Герасима, а сразу же откликнулся на ее предложение.

9

Лапшин из кабинета слышал какие-то шорохи в коридоре, потом их заглушил визг машинных тормозов где-то внизу во дворе. Ему тоже захотелось курить, но с собой он сигарет не захватил. В сущности, он курильщик был не очень азартный, искать в темноте ему не захотелось. Он думал о том, как странно и неожиданно сошлись они вдруг с Вороновым, тем самым, судьба которого всю жизнь вызывала у Лапшина радостное удивление, и каким невероятным роднящим фактом стала для них, стареющих мужиков, живущих в непохожих углах жизни, общность отцовской тревоги и заботы.

Александр вдруг вспомнил про обещание жене позвонить вечером, как только повидает сына и выяснит, наконец, какие это чрезвычайные обстоятельства толкнули Митьку в торговые экспедиторы. Он даже было приподнялся с дивана, намереваясь пойти к телефону, но сам же себя и урезонил тем, что разговора нормального с женой не получится, раз он не нашел Митьку. Александр все успокаивал себя, памятуя разговор с Герасимом. «Если бы что-то все-таки серьезное произошло, то уж Герасим был бы в курсе, да и обманывать меня он не стал бы».

Наконец, Лапшин склонился к тому, что экспедиторство было просто Митькиной шуткой, чему в подтверждение

для себя брал свидетельства ребят из студенческого общежития, в котором они побывали с Вороновым.

Но как Александр себя ни уговаривал, как ни ворочался на профессорском диване, ни успокоения, ни сна не было. В памяти всплывал то один, то другой отрывок из недавнего разговора с Вороновым.

«Чего это он вдруг про Бодуна вспомнил?» — задался вдруг вопросом Лапшин.

Их много тогда было в Тополинске — грустно примечательных «личностей», но двое особенно выделялись из того ряда. Бодун всегда стоял на одном месте, на крыльце «смешанного» магазина. Суровый, молчаливый, в старой, наглухо застегнутой шинели; у изъеденных временем и грязью разбитых носков его сапог в любое время года лежала изношенная солдатская шапка-ушанка. Глаза его сине щелились из-под лохматых бровей, от которых, казалось, и начинала расти густо путанная рыжая борода, несусветная по тем временам диковина.

Бодун стоял молча. Однако редко кто из прохожих не склонялся над шапкой, чтобы бросить монету, — такой силы укор исходил от него, был в его облике, шинели и шапке красноармейца. Взрослые пугали им непосед-ребятишек:

— Вот скажу Бодуну, заберет тебя...

Даже сейчас, через десятки лет, Лапшин ощутил неприятное чувство от этого воспоминания и торопливо, как убегал в детстве от Бодуна, кинулся в другой светлый угол воспоминаний. Кинулся на послевоенный базар, место, заменявшее в те годы им, пацанам, детские площадки. Много там было диковин, но больше всего любил Сашка с пацанами вертеться около Зубарика, так ласково называли тополинцы мужика без обеих рук, веселого говоруна, зимой в шинели, летом в гимнастерке, сверкавшей блеском медалей и орденов. Вокруг Зубарика всегда хороводились женщины и ребятишки.

Поверх воинских регалий на груди Зубарика висел ре-

мешком за шею ящик с вещими конвертиками, которые преподносил всем желающим своими беленькими зубками миловидный зверек — шустрая морская свинка, действуя согласно хозяйским командам: «Кому радость, кому горе, нагадаю, не стаю! Подходи смелее, бабы, все билеты по рублю!»

Осторожно приняв конвертик, женщины отходили в сторону, долго и благолепно вчитывались в коряво написанные слова: «Вас ждет скорое свидание», «Благополучие ваше в незамедлительном времени», и усладивши растерзанную душу безвинным обманом, с облегчением опускали в карман Зубарику рублевку (пустые рукава гимнастерки у того были заткнуты за подпоясок-ремень). И вот от этого самого Зубарика, бесполезным вроде своим существованием облегчающего человеческую жизнь, беспомощностью своей щедро одарившего людей душевной силой, возвращаясь мысленно к недавнему разговору за профессорским столом, Лапшин вдруг подумал, что профессор в чем-то здорово запутался. Нет, конечно, талант он большой и о детях вроде верно говорит, и жизнь у него нелегкая, но почувствовал Лапшин, что во всех его расчетах просвечивает какая-то маленькая трещинка. Так у них в шахте бывает: в лаве вдруг обнаружится ложная кровля. То есть в том каменном монолите, что висит над головами шахтеров, случается вдруг опасная рыхлость, которая, если ее вовремя не сбить, может упасть сама и наделать беды.

Все эти разговоры с самим собой привели к тому, что Александру вдруг стало жаль Герасима. По всей видимости, в этом и было что-то, ведь Лапшин догадался, что у его хозяев с дочерью хлопот тоже хоть отбавляй. Подумать только, бросила учебу, не сказываясь, не спросясь, по чужим ночует. Он бы, Лапшин, подобного в своем доме не потерпел! У них в доме, слава богу, все было в порядке. И сам себя же поймал Лапшин, с горечью уточнив:

— Только что было!

Но и тут же возражение нашел в том, что не может, по его убеждению, Митька ничего плохого сделать. Наследственных примеров у него к тому не имеется. Этот свой резон Александр так попытался объяснить самому себе: даже если взять злосчастную драку в общежитии с Латуниным, по рассказу того же Воронова, Митька-то по справедливости поступил. А ребячья справедливость известно как выясняется. У Лапшина, неожиданно приободрившегося, появились и претензии к профессорам. Тоже, дескать, хороши воспитатели, не поставили родителей в известность. Сор из избы не хотели выносить, что ли? А родители разве сторонние? Да и слово родительское еще кое-что и значит.

И опять того же Латунина взять, отца. Чего они, профессора, его боятся? Отцы, какие бы ни были, а все-таки отцы! Или какой-то особый отец — этот самый Латунин?

10

Так, лежа в чужой квартире на чужом диване, рассуждал Александр Лапшин. В то самое время, когда Дмитрий Лапшин — его сын — с первой рабочей получкой в кармане ехал в трамвае с завода, ехал в маленький заснеженный домик на городской окраине, где он у доброй старушки снимал комнату, в которой сегодня ждала его Татьяна Воронова, его незаконная жена. Днем перед сменой они вместе с Татьяной сходили в канцелярию института, куда Митя отдал заявление с просьбой о переводе на заочное отделение.

Он очень устал. Сил даже для разговоров не было, поэтому он и сел в отдалении от своих собригадников: неуемного трепача Зинкина и сурового негласного бригадного вожака Вартунова.

И уж совсем некстати оказалось появление в трамвае Латунина с веселой компанией, того самого Латунина, из-за которого, собственно, он и оказался в грузчиках.

Латунин, может быть, и не заметил бы укутавшегося в отвороты полушубка Лапшина, если бы его внимание не привлекла девчушка — соседка Мити по сиденью. Ну а когда он узнал Митю, да еще когда не без злорадства сообщил тому, что его ищет по общежитию профессор Воронов с каким-то мужиком, тут Лапшин уже понял, что к Татьяниной жареной картошке (а Татьяна недавно научилась у бабки жарить вкуснющую картошку) дорога его, Мити, будет нелегкой.

Понимал и Латунин, что им просто так не разойтись и, подогревая себя, продолжал фиглярствовать.

— Ну, Митя, как же насчет баньки? Поехали с нами! На халяву смочим! Вот и шпулька с нами хочет... — Латунин прихватил рукой голову девчушки. Та рванулась в сторону Лапшина. — Это, правда, не профессорская дочка, но у нас все равны, и вообще... пролетарии всех стран...

— Фуфло ты, граф! — поднялся Митя со своего места и сказал соседке: — Мне на следующей сходить.

Она тоже поднялась, и Латунин вынужден был отступить на шаг.

«Она ведь за мной пойдет, — мелькнула у Мити мысль. — Вот еще заботы не было». — И опять услыхал приближающийся магнитофон. На этот раз тот уже гремел вплотную за ним.

Как только трамвайная дверь с медленным скрипом начала отползать, Митя обернулся, схватил за руку свою соседку, рванул в проем, сам прыгнул в сторону от дверей:

— Шуруй и не оглядывайся! — крикнул он девчушке, встречая кулаком кинувшегося парня.

«Жаль, сволочь, не сам», — успел подумать о Латунине Лапшин, и его сбили с ног. Бросив ладони к лицу, чтобы как-то прикрыться от пинков, Лапшин попробовал откатиться, и к удивлению, ему это удалось. Сделав два-три оборота и не ощущая пинков, он стал подниматься на ноги.

Еще барахтаясь в снегу, он увидел бегущих от оста-

новки парней. Не особенно соображая (гудела голова от удара), Лапшин, нащупав подошвой твердость утоптанного снега, с трудом вылез из сугроба, глубоко захватив воздуху, кинулся на одного из стоящих.

— Ну ты, чумной! — увертываясь от удара, заорал тот голосом Зинкина,— охолонь!

В темноте трудно было разобраться, но Митя все-таки углядел и стоящего рядом Вартунова. У ног его кто-то лежал, постанывая.

— Погляди, — предложил Вартунов, — не твой карифан?

Лежащий приподнялся, сел, и Митя узнал в нем Латунина. Тот попытался отползти в сторону, но Вартунов предостерег:

— Не дрейфь, пока больше не будем...

Замаячили огоньки приближающегося с противоположной стороны трамвая.

— Вон фаэтон подают, валяй, садись!

— А ты, парень, при себе! — толкнул Лапшина в бок Зинкин, — дай закурить.

Митя торопливо достал сигареты, протянул пачку Зинкину и наклонился перед Латуниным:

— Вставай, Граф!

Тот было что-то заворчал, но Митя, не обращая на это внимания, подхватил его под мышки и поволок через рельсы. Молча дождались трамвая, молча Митя подсадил Латунина в вагон, и когда тот, прогромыхав, скрылся в темноте, Митя, увидев стоящих напротив Вартунова с Зинкиным, сообразил, что им до общежития еще целых две остановки. Он заторопился к своим спасителям:

— Ну, мужики, спасибо!

— Подь ты! — беззлобно огрызнулся Зинкин — Куришь всякое маде ин дерьмо! — и протянул Лапшину его сигареты.

Митя тоже закурил.

— Перепало бы мне, — признался Митя, и прозвучало это тоном благодарности.

— Как пить дать! — подтвердил Зинкин.

— А что, ребята, — Мите в голову вдруг пришла шальная мысль, и он по-свойски уже обратился к мужикам, каждый из которых годился ему в отцы: — Пошли ко мне в гости? У нашей хозяйки настоечка всегда в запасе имеется. Вчера дрова привозили, специально для платежа наготовила.

— А ты разве не с родителями живешь? — спросил Вартунов.

— Так вот получилось, — почему-то оправдательным тоном произнес Митя и, испугавшись, что они откажутся от приглашения, как главный аргумент объявил: — Жена картошки нажарила! Пошли?

— А баба?

— Какая баба? — не понял вопрос Митя.

— Ну не моя же, твоя, конечно, той самой сковородкой не проводит нас? — опасливо, но, видимо, со знанием вопроса поинтересовался Зинкин.

— Баба? — переспросил Митя. В отношении к Татьяне ему еще не приходилось слышать такого обращения, и это вдруг рассмешило его. — Ну, мужики, баба... — Митя произнес это слово с особой значительностью и удовольствием, — баба у меня что надо, она, знаете, как гостей любит, сами увидите. Пошли! — Он подтолкнул Зинкина к тропинке, сворачивавшей в переулок, и вдруг сообразил, что это будут их первые с Татьяной гости.

НА ТАЕЖНОМ РАЗЪЕЗДЕ

В субботу, после обеда, сбросив шаровары, телогрейки, сапоги-бахилы, женщины одевались в юбки, кофты, платья, обувались в туфли и выходили «на улицу» — небольшой пятачок утоптанного гравия, редко поросший подорожником и мать-и-мачехой.

Воротнички, оборки, оторочки, опояски и брошки обновляли уже примелькавшиеся наряды, порождая взволнованную праздничность. Так обещающей радостью каждую весну расцветают в тайге огоньки, томительно растворяясь потом в знойной июльской пене белоголовых ромашек. Они густо заполняют все вокруг нескольких оборудованных под жилье вагонов у подножия насыпи, которая рельсами устремляется в молчаливую даль тайги, где сокрыты и будущий угольный разрез, и будущая жизнь обитателей пока что безымянного разъезда.

Их было-то всего около десятка, неженатых да незамужних, возглавляемых единственным многодетным, лысым, сорока лет хозяйственным мужиком Григорием Чичинаковым. Григорий, или дядя Гриша, иногда вспомнив свое положение, любил построжиться, однако, поскольку подобное происходило чаще всего в дни получек, то воспринималось его подчиненными как своеобразный номер художественной самодеятельности. На самом деле дядя Гриша — мужик безобидный, озабоченный кроме всего покосом да огородом, поддерживать который в сырой таежной низине было нелегким делом, исполнительскую, так сказать, власть передоверил Алексею Четверукову — парню верткому, с посто-

янной белозубой улыбкой и немигающим требовательным взглядом из-под широких, вроде бы приклеенных на белый лоб черных бровей, жадному на работу и на жизнь.

Алексей и «на улице» по субботам появлялся всегда первым, в остро отутюженных флотских клешах, в широком черном пиджаке, с выпущенным поверх белым воротником рубашки, под которой синели полоски тельняшки.

Песенник и острослов, он умел с завораживающей непосредственностью рассказать анекдот, одному ему известным способом спеть частушку с перченым припевом, и все давно уже привыкли к этому на разъезде.

Разъезд находился от ближайшего поселка в шести километрах. По тропке между болотных кочек, редких сухожильных березок, позеленевших сухих стволов худосочных пихт ходили парни в поселковый магазин.

Известие о предстоящем в воскресенье киносеансе, которое приносили возвращающиеся гонцы, разжигало нетерпение. И на следующий день все население разъезда отправлялось тем же путем, для удобства хождения неся в руках туфли, надеваемые перед самым поселком. В праздничной сутолоке среди геологов, строителей, лесосплавщиков разъездовские держались кучно, блюдя свою автономию.

Заполночные возвращения домой не всегда случались в полном составе, причиной чему были попытки поселковых жителей завести знакомства с разъездовскими девчатами, но тут вступал в силу неписаный закон деликатного невмешательства.

Выходя поутру на работу, на разъезде вспоминали разные смешные разности: вроде того, как жена директора молокозавода улетела с вертолетчиком, посадившим машину прямо в ограде завода, как на старом перевозе через речку Большая Кузба, за поселком, Витька-пастух споткнулся и разбил пальцы босых ног о камень, оказавшийся золотым самородком весом в триста граммов, и как потом мужики, побросав работу, за неделю перекопали чуть не всю переправу и окрестные берега, так ничего и не найдя,

и только о своем прошлом — ни слова, даже острослов Четверуков. Будто и не было ничего или кануло в болото, — в молчаливых бескрайних топях былая, далекая от разъезда жизнь каждого, не то схороненная про запас до возвращения, не то оставленная за ненадобностью, как бы не существовала.

Не любили здесь разговоры о прошлом, хотя, казалось, о чем же им бы и говорить в этой жизни, огороженной запнувшимися на старых ржавых рельсах вагончиками да свеженасыпанной железнодорожной насыпью, уходящей в неизвестность? А быть может, в этой самой неизвестности и теплилась для них заманчивая влекущая сила жизни?

2

Осень на разъезд принес первый сентябрьский дождь. Лето простояло горячее, сухое, с редкими дождями-ливнями. А у этого был совсем другой голос, запах сырости и тоски. Всю ночь на понедельник выл ветер, стучал в окошко. Утром, когда, как обычно, перед выходом на работу ждали служебную коротковагонную вертушку, в восемь тридцать проходившую разъезд и сворачивающую на главную магистраль Новокузнецк—Абакан, Лидия Чеснокова удивленно ахнула:

— Ой, девочки, а как нынче стало далеко видать! Глядите, флажок-то на вагоне аж от самого поворота машет, чуть не у Шаманова Камня!

— А ведь и правда, — подтвердила Клавдия Торба и с наигранной озабоченностью поинтересовалась у бригадира: — Шаманкину-то избу не видать, Гриша?

Всплеск общего смеха угомонил урюмый голос Григория:

— Чего с утра-то скалитесь? Так бы работали, а то квартал к концу, а наряды мне чем закрывать вам? Их Лидкиным задом не прикроешь, а погода-то задурила — осень, девки-ягодки, костыль ей в бок, осень...

И все сразу увидели рыжую траву, низкие серые тучи, будто притушенное ночным дождем солнце.

— А просить я хочу, Лидия, тебя, — озабоченно продолжал Григорий, — мы с женой Митяшку хотим в Амзас свозить, животом малец замаялся, как резаный и днем, и ночью орет, видать, в пупу грыжа, а ее только бабки, сказывают, и лечут. Надежда в поселок к фершалу ходила, говорит, в город везти резать. А каво в нем резать: году мальцу нет — и под нож. Вот в Амзас, к шаманихе хочу.

— Надежда-то не боится, что опять присушит тебя шаманка? — густо выдохнув папиросный дым, поинтересовалась Клавдия.

Григорий, не удостоив ее ответом, продолжал объяснять Лидии: — Ты бы за девками приглядела, если запоздаюсь, чтобы скотину не растеряли. Алексей за старшего, значит, и, как говорится, ежели дождь не помешает, так и с богом,— Григорий направился в сторону своей избы, а тут мелкой россыпью швырнуло с неба, потом еще, и заморосил, все сгущаясь, дождь. Григорий обернулся, чтобы что-то сказать, но только махнул рукой и пошел.

— Слушай команду, — весело крикнул Четверуков, — до окончания дождя по каютам и ждать: «Все наверх!»

Дождь так же внезапно и быстро перестал, как и начался, однако тучи не расходились, а, казалось, опустились еще ниже, но задористо зазвенел в сером утре голос Четверукова:

— Все наверх, места согласно боевому расписанию занять!

Не то возымела действие шутливая команда, не то просто бездеятельное сидение в комнатах в спецодежде не располагало к благодушию, только заторопился каждый откликнуться на зов.

Работу они делали привычную, ту, что у железнодорожников называется «рихтовка пути». И если в забивании костылей преимущество, конечно, было у ребят — удар женщин с мужским не сравнишь, то на рихтовке бывало

по-разному. Лидия Чеснокова на спор взялась однажды потягаться с самим Четверуковым, чем привела в восторг посестрински привязавшуюся к ней Татьяну Соснину, девушку всего несколько месяцев назад, в конце зимы, объявившуюся на разъезде.

Соснина оказалась здесь волею судьбы, представшей перед ней в лице начальника отдела кадров мостопоезда, похожего на скороговористого, стриженого «под ежик» агента оргнабора, веселого человека с полевой сумкой. Его выступление слушала Татьяна в Белозерском клубе, где она работала помощником киномеханика.

— Как ты говоришь? — переспросил Татьяну начальник отдела кадров, — хочешь на трассу мужества? — и глубоко вздохнул. — Я все понимаю: ты совершеннолетний человек, и нам работники нужны, и государство тебе подъемные не зря платит, но трасса — это не кино, дочка. — Татьяне послышались в его голосе те самые нотки, которые в ее разговорах с отцом всегда выбивали из колеи и отчего-то доводили до слез. Видимо, от начальника отдела кадров не ускользнуло движение в лице просительницы, он поторопился предупредить:

— Только без слез, мы тебя не в детский сад принимаем. Трасса от тебя не уйдет, а пока поработаешь на объектах местного значения к городу поближе, — почему-то добавил он, — и да и к климату нашему сибирскому ты, пичужка, там легче привыкнешь.

Григорий Чичинаков встретил ее почти такими же словами. Славке Таирову, приехавшему с ней по оргнабору, он ничего не сказал, а вот Татьяну спросил:

— Тебя откуда к нам, пичужка, занесло? — Узнав, что из Воронежской области, закивал головой: — Проходил я ваши места. Пехотинец я был в войну, все пешим шел. И по вашим местам довелось.

Григорий определил Татьяну в вагончик к Чесноковой.

Маленькая, короткостриженая, в брючках, хоть и в приталенном пальто в широкую клетку с капюшоном, Татьяна

походила бы на переодетого подростка-мальчишку, когда бы не модно выщипанные брови и яркая губная помада. Настороженный взгляд подчеркивал ее самодеятельную парфюмерную маску. Татьяна сбросила ее с лица вместе с наигранной независимостью, подчеркиваемой сигаретой, которую подносила ко рту дрожащими тонкими пальцами, едва Лидия, кивнув на кровать в одном углу вагончика, дружелюбно полюбопытствовала:

— С утра-то жевала? — Лидия тут же выставила на стол банки со сгущеным молоком, говяжьей тушенкой, выложила румяную, ноздреватую, производства поселковой пекарни, буханку хлеба.

Может быть, родительская интуиция подсказала дяде Грише, что поселить эту девчушку, едва ли не ровесницу его старшей дочери Нюрке, следует непременно с Чесноковой, а может, причиной тому был нешумный, однако неоспоримый авторитет Лидии в этом маленьком тесном общежитии. Может быть, задерганный заботами бригадир и без всякого умысла решал этот вопрос, но как бы там ни было, новоиспеченная новоселка, по-детски истосковавшаяся за долгую дорогу по домашнему, родственному соучастию, с такой бесхитростной откровенностью разговаривала с Лидией, что и та не могла не отозваться ей.

Женщина рассудительная, требовательная в спорах с нормировщиками и изредка наезжающим начальством, принимающая бригадирское единоначалие, справедливо-доброжелательная, снисходительно-грубоватая в житейских разногласиях, давно справившая праздник сорокалетия в сиротском уюте общежития, Лидия вдруг оказалась захваченной почти сестринскими заботами. И незаметно для себя менялась она, становилась мягче и женственней. Лидия придирчиво оглядывала наряд Татьяны, когда они собирались «на улицу». И Таня в долгу не оставалась. В одну из суббот, когда они с Татьяной вышли на звуки четверухинского аккордеона, Алексей громогласно ахнул:

— Братцы-кролики, глянь, царевна-лягушка!

На Лидии было всем знакомое темно-синее, с мелкими желтыми цветами шелковое платье с длинными рукавами и узеньким пояском, черные туфли-лодочки. Но на этот раз под знакомой синью шелка вдруг увиделась томительная округлость плеч, нежная настороженность, затаившаяся в глубокой розовой ложбинке в вырезе платья.

В хвойной мрачности таежного дня случается солнечному лучу прощелиться сквозь тесноту иголок. Тогда под живительным ярким светом вспыхнет вдруг секундным блеском зеленой радости ущербная лиственная поросль, томящаяся в замшелом подножье великанов, расплеснет свое счастье вокруг, и удивительно зашуршат невозмутимые папоротники, застучит дятел, призывая пернатых к песнопению. Малый лучик этот оживит глухомань от синеющей тайны древнего лишайника на корневой жиле столетнего кедра до нежной зелени завязи на самой его макушке.

Так же невеликая женская хитрость, показанная Татьяной Лидии — она только подняла под шпильку на затылке обычно закрывающие шею и половину лица густые светлые ее волосы, — открыла неожиданно лебединую белизну шеи, не помятой на удивление морщинами времени. Ее изящная линия, плавно округляясь в подбородок, обрисовывала овал лица, наполненный такой неизъяснимой грустной российской красотой, что даже шрам на правой щеке не ослаблял впечатления необычности.

— Ну, Лидуха, убей меня бог, самое время не именины, а свадьбу справлять! — выразил общее удивление Четверуков, и его пальцы отчаянно забегали по клавишам.

Веселье рвалось из мехов аккордеона, и, споткнувшись на какой-то ноте, пальцы музыканта сбили ритм, и посыпались частушки.

— Девки по лесу ходили, любовалися на ель. Какая ель, какая ель, какие шишечки на ней!

Клавдия Торба — это она была именинница — высокая, узкой кости женщина, в праздничной шелковой белой кофте и широко расклешенной зеленой шерстяной юбке, броси-

лась отчего-то обнимать Лидию, и это оказалось вроде бы сигналом к общему веселью, вспыхнувшему шумом разноголосицы и смеха.

— Кланя, ты сегодня специально, чтобы клеймо ставить, губы-то намазала? — вскричал Четверуков, заметив на щеке Лидии след Клавдиного поцелуя.

— Помада — не засос, сотрется, не посинеет, Леша, — прерывая пение и продложая плясать, напомнила Четверукову его недавние похождения Клавдия. Он же, никак не отреагировав на ехидное замечание именинницы, сделав торжественную мину, вынул из кармана аккуратно сложенный клетчатый платок и подчеркнуто церемонно обратился к Лидии:

— Позвольте, Лидия Трофимовна, поухаживать за вами? Ликвидировать следы, так сказать, бескультурья...

Но Клавдия, весело оттолкнув его, подхватила Лидию под руку:

— Утремся сами, а вы все за нами! Лешка, чтобы музыка не молчала, слышишь?

Скатерть разостлали на привычном месте, на большой цветущей поляне, отгороженной от болота кустами черемушника, под тенью березы, в одинокой свободе вольготно раскинувшей густолистые ветви.

Родниковый ручей, пробивший маленькое извилистое русло меж сухих кочек, убегавший с черемухового угла поляны куда-то в тайгу, остужающе успокаивал разгоряченные угощением и пляской души, и тогда затягивалась кем-нибудь долгая песня про то, как «бежал бродяга с Сахалина...»

Серега же Збанецкий принялся пытать дядю Гришу:

— Ты понимаешь, какой у меня разряд по сварке? Ты меня, фактически, чернорабочим на лопате держишь, а понимаешь, что я классный сварщик? Ты трубу под давлением варил? Под давлением, фактически, варил? Но я тебе за справедливость давай сейчас по швеллеру на двадцатиметровой отметке, без пояса, цыганочку сбацаю, хочешь?

На что дядя Гриша резонно заметил:

— Где я тебе эту отметку возьму? А к лопате ты, Серега, самовольно пристал, по добровольному найму, и унижать ее я не позволю. Всю жизнь она меня кормит. Я потвоему что, филон какой?

— Ты, дядя Гриша, не филон, фактически, ты справедливый человек, но в сварке ты слепой и глухой, — стоял на своем Серега.

Дядя Гриша и на это не обиделся, он только призвал Серегу по-жизненному рассудить, что и швеллер на двадцатиметровую отметку без лопаты не затащишь...

— Ей, холере, фундамент тоже рыть надо! А чем?

Серега примирительно согласился, что кроме как лопатой нечем, но тут же восстал:

— А все ж таки, хошь, я тебе сбацаю на швеллере на двадцатиметровой отметке?

Однако недолго продолжалась беседа. Вскочила Клавдия, тоже нарядная в белой кофте, оттенявшей коричневое от загара лицо.

— Леша, голубчик, играй, поцелую тебя, Леша! — запрокинув голову, опустив руки вдоль сухощавого тела, позвала она. И Четверуков тотчас откликнулся долгим, нерешительным аккордом, медленно переходившим во все убыстряющуюся мелодию.

Медленно, в такт начинала двигаться Клавдия, и одна за другой, будто притягиваемые, поднимались и остальные. А когда музыка и Клавдина душа слились в одном ритме, она вскрикнула и дробно и часто начала выбивать чечетку по топтаной траве.

— Я надену юбку клеш, кофточку в горошинки! Мы не девки, мы не бабы, а мы просто брошенки! — уносился в синее небо ее низкий голос. Ему, не то сбивая, не то поддерживая, звонко и задористо вторила Машка-хохотушка: — Целовалася я с милым до рассвета у ручья! Целовалась бы еще, а он спать мне на плечо!

Плясала и Лидия.

— А я трактор вожу, я корову не держу, нынче девки за комбайн — я скоро замуж выхожу!—басит опять Клавдия, и на всем ходу вдруг останавливается, обхватывает руками Лидию, роняет ей на плечо голову и, всхлипывая, тащит ее из круга...

У ручья Клавдия стала на колени, зачерпнула ладонью прохладную воду.

— И чего она, жизнь наша, пустоцветом катится, Лидуха?

Клавдия — ровесница Лидии, они с ней вместе первыми пришли в бригаду, вместе с Григорием работали в Мысках, на ГРЭС, в Ольжерасе; много бригадников сменилось, а они все вместе.

Еще в детстве маманя вдалбливала ей: ты, Клаша, лицом не вышла, телом не сдобрела, потому тебе надо мужа приглядывать по себе. Пусть бы и постарше или там малость убогого, главное — тихого да богатого. Она ее сосватала за Пантелея-заготовителя в шестнадцать лет. Тихий был, убогость не тягостная — хромота в одной ноге, богат. Хозяйства в дому — на колхоз хватит. Все жилы повытягивало то хозяйство. Детей не было. Однажды, вдобавок, погорели, полсела выгорело. Пантелей с горя умом помешался. Все коробочку какую-то искал, говорил, с золотом. Так и замерз на пожарище.

В войну Клавдия жила у тетки в городе. На заводе работала. Там после войны сошлась с одним. Тихий, не пьющий, богомольцем оказался. Со знакомыми все друг дружку ласково «брат», «сестра» кликали. Клавдию в молельный дом звали. Раза два сходила, видать, не угодна богу была, не прельстили ее собрания. А тут узнала: ее тихоня с «сестрой» одной «шуры-муры» завел. Устроила она ему молитву дома да и ушла.

К бабке в Мыски уехала. А та возьми да и помри вскорости после ее приезда. Мать-то давно похоронила. Отец с фронта не пришел. В Мысках опять мужиком обзавелась. Опять же тихий, музыкант, с трубой. Через бабкины же по-

хороны и познакомились. Ничего так, совестливый, ласковый, но запойный оказался. У него это через работу выходило. Покойников много, а их-то, музыкантов, четверо всего было. Клавдию, правда, не обижал, и она шибко на него не шумела. Только сгинул куда-то. Так вот: был и вышел весь.

— Можешь ты мне, Лидуха, про жизнь нашу от души сказать? — допытывалась Клавдия. — Вот и ты красавица была, а?

— Гляди-ка, музыкант стих! Так мы с тобой весь праздник разгоним! — заторопилась Лидия предварить дальнейшие расспросы.

— А и то правда, — встрепенулась Клавдия, встала и на ходу, не окликая музыканта, запела:

— Я надену юбку клеш, кофточку в горошинки...

Алексей будто ждал ее сигнала, подхватил, понес мелодию на переливах-переборах, весельем заливая тоскливый голос Клавдии.

3

Татьяна, наплясавшись, прилегла на траве возле музыканта. У нее немного кружилась голова, и ей казалось, что это от долгого смотрения в небо, по которому целый день бежали облака, пока серый вечер незаметно не загнал их в дальний угол небосклона, подпиленный черными пихтовыми зубьями, куда скатилось солнце и откуда оно долго еще присматривалось узким, розово-малиновым закатным взором к веселью на поляне. Праздник кончился, и вновь замаячила будничная монотонность завтрашнего дня, так похожего на другие, уже будто пережитые раз и навсегда.

С того самого дня, как она спрыгнула с подножки дрезины, словно бы случайно закатившейся в этот, на отшибе от всего живого угол, ее не покидало ощущение одиночества, только иногда приглушаемого жалостливым, неумелым сочувствием Лидии. Будь она рядом, Татьяна, наверное бы,

и сейчас заплакала, но рядом в темноте, едва приметная белизной зубов, мелькнула улыбка Алексея, понимающе участливая, негаданно ободряющая.

Его аккордеон вдруг запел задушевным причитанием. «Ой, цветет калина в поле у ручья...» — подсказала мелодия слова, и нескладный тихий хор осторожно выдохнул их и понес печальную радость песни через затаившуюся лесную и болотную ночную хмарь.

Голоса иногда сбивались, сталкивались словами, но это не мешало ходу песни. И низкий голос Клавдии, и игривый кокетливый высокий голос Маши-хохотушки, и шутливое гуденье не в лад Сергея — все сливалось в одном устремлении, сходилось постепенно в узкий круг вокруг музыканта. Это тяготение друг к другу сближало, и Татьяну окатила щемящая волна радости и признательности, растопившая недоверчивость. По-другому стали восприниматься и насыпь со ржавыми рельсами, и неприметные радостные мелочи соседского быта, вроде новых красных резиновых сапожек, и ворчливая придирчивость дяди Гриши, скрывавшая порой неумелое сочувствие и понимание.

Новые ощущения наполнили Татьяну, неприметно обостряя вкус к новой жизни. Перемены в девчонке произошли заметные, и даже Лидия не удержалась и однажды выговорила поздно вернувшейся Татьяне:

— Ты, девка, головы-то не теряй от музыки, гляди, лес глухой, трава густая, Танька, доблукаешься...

— Ой, Лидушка, — восторженно вскрикнула Татьяна и, бросившись к ее кровати, уселась у изголовья на пол. — Ты совсем прямо, как бабушка. Она так и говорила: «Доблукаешься, Танька!»

— А то нет! Кому не видать, как после Клавкиных именин Лешка тебя обхаживает? Зачуял кот свежатину!

— Да он и целоваться по-настоящему не умеет, — засмеялась Татьяна и горячим лицом прижалась к голой Лидиной руке.

— А ты, глупенькая, знаешь, как по-настоящему? — с тревогой и жалостью в голосе спросила Лидия.

Татьяна этот вопрос оставила без ответа. Она подняла голову с руки Лидии и задала вопрос:

— А ты знаешь, что такое любовь?

— Это ты у лектора как-нибудь попытай! Спать давно пора, — отшутилась Лидия. Но Татьяна упорствовала:

— Один раз в жизни и поговорить по-человечески нельзя, только и дел здесь у нас, что спать. Не знаешь, так бы и сказала...

— И вправду, не знаю, — примирительно призналась Лидия.

— И я не знаю, — грустно вздохнула Татьяна.

— Господи, да тебе откуда и знать, — развеселилась Лидия, — у тебя годков впереди, как соленых волнушек у Григорьевой Надежды в кадушке. Какой у тебя огляд, девонька? Ты смотри, как бы не оступиться, не поторопиться. Вон, Клавка все спешила, спешила...

— А ты не торопилась, а чего-то в одном вагончике живете, — обидно напомнила Таня, но, поняв свою бестактность, извинилась:

— Ой, ты меня, Лида, прости, я же не то хотела сказать...

— Как оно есть, так и сказала. Чего уж. Раз правда, куда от нее денешься! — вздохнула Лидия и неожиданно серьезно добавила, — может, я тебя, девка, обманула—про любовь. Задумалась сейчас, видать, обманула! Ведь бывает! Да еще и так, что лучше бы и не было. Потом-то спохватишься, его нет и... — и ты пустая. Он умер, и в тебе что-то обмерло!

— С тобой было? — посочувствовала Татьяна.

— Со мной, — вновь вздохнула Лидия.

— Умер?

— Убили.

— В драке?

— Зачем в драке — на войне...

— На войне? — удивилась Татьяна. — Так это же когда

было! И моего дедушку на войне убили. Бабушка потом за Семена Степановича замуж выходила. Он, правда, тоже умер теперь. Старенький был.

— Ну так что ж, что выходила. И правильно. Просто по молодости первоначально еще ничего не понимаешь, — не объясняла, а в задумчивости рассуждала Лидия,—и у меня было. Жила с мужиком. И неплохой был, а все чего-то не по мне. Все вроде бы не так делает. Потом-то я докумекала, что я сама не та! Та, настоящая, так на войне и осталась. Как бы это тебе объяснить? Понимаешь, будто бы не я, а кто-то чужой вместо меня живет, и все с прошлой стороны на это новое мое житье поглядывает, будто бы потерю разыскивает. Это еще на строительстве Волжского канала было. И жили мы, говорю, ничего. И повстречался мне там, откуда он взялся, наш старшина Еремин. Он, оказывается, в том самом бою, когда нашу батарею разбомбили, тоже был ранен. А Васю-то, как он сказал, прямым попаданием накрыло.

— Выходит, ты и сама на войне была? — недоверчиво удивилась Татьяна и как бы в оправдание этого недоверия пояснила: — Я же послевоенного года рождения, Лида.

— Ну, а у меня в сорок третьем девочка должна была родиться, — тихо сказала Лидия.

— Как это? — не поняла Татьяна.

— Я санинструктором в Васиной батарее была. Меня ранило. Не очень, правда, но в госпиталь попала. Трудно мне было. На четвертом месяце я была. Вася-то не знал ничего. Сказать все боялась. Было это возле деревушки Меркуловичи. Кругом болото, леса. Еремин меня через болото и проводил, до леса. До госпиталя недалеко было. А тут фриц попер в наступление. И на госпиталь танки налетели, мяли палатки, гусеницами давили раненых. Кто жив остался — того в машины и повезли. Ночь, крики, стоны, в машине все вповалку. У меня началось. Скинула я, понимаешь? К утру-то оклемалась я немного, когда нас к месту привезли.

— В концлагерь, — потрясенная услышанным, но все еще не до конца осмысливая, уточнила понаслышке осведомленная Татьяна.

— Нет, вначале нас в какое-то овощехранилище поместили, на железнодорожной станции. Концлагерь — это потом был, — буднично-терпеливо объяснила Лидия, — вот, гляди-ко...

Она протянула руку, на которой еще недавно лежала щека Татьяны.

— Чего? — все еще непонятливо, но уже с пугающей ее самое догадкой насторожилась та.

— Видишь цифры? Это вот лагерный номер и есть.

Татьяне показалось, что она явственно видит в темноте зеленоватую расплывчатость цифр. И ей снова стало неловко.

— А я-то, я-то, дура, думала... — спохватилась она, но Лидия перебила:

— Знаю о чем! Не ты одна, не беспокойся! Я уж привыкла. С опаской глядят. Каждый знает, кто с наколкой ходит. А объяснять каждому не станешь! А кто и по-свойски норовит знакомство завести. Только я жеманства сызмальства не терплю, противно! Вот и ношу длинные рукава. Отмыть не отмоешь, а от взгляда прикрыто клеймо-то!

— Они били тебя? — жалостливо, со страхом спросила Татьяна.

— Каво там бить было? Сами как мухи дохли, — усмехнулась Лидия. И от усмешки этой девчушка вздрогнула.

И жутко стало ей, но она еще все-таки шепотом, каким дети, слушая страшную сказку, поторапливают рассказчика в надежде на счастливый конец, спросила:

— А как же ты?

— Не знаю, — опять усмехнулась Лидия, — сама удивляюсь. Может, просто очень живуча. Ох, как живуч бывает человек, Танька! Другой раз даже пожалеешь, ну к чему

так! Шрам-то на щеке — это оттуда память. Чтоб, не дай бог, не забылось, видать!

Теперь уж Татьянины пальцы потянулись к лицу Лидии и сквозь сыпучую шероховатость волос осторожно коснулись шрама. Неожиданно вслед за рукой она, будто прячась от чего-то страшного, по-детски уткнулась Лидии в грудь, и жалостливая дрожь слезами всколыхнула ее худенькое тело.

— Ну что реветь-то, что реветь, — обхватив руками Татьянину голову, сама со слезами в голосе уговаривала Лидия. — Было, да сплыло! Слава богу, живем. Ты вот-ка разболакайся, да лезь-ка ко мне рядом! И нюни утри, говорю! А то за красный нос Лешка разлюбит!

По-ребячьи тихо всхлипывая, Татьяна так и уснула, притулившись к плечу Лидии. Утром, собираясь на работу, Лидия напомнила:

— Ты, девка, Лешку поостерегись!

Но с тех пор ни о нем, ни о прошлом Лидии разговора у них никогда не было.

4

Татьяна совсем прижилась на новом месте. А тут еще и помог случай, необычайно вознесший Татьяну в мнении обитателей разъезда.

Когда разъездовские, в одно из воскресений подойдя к поселковому клубу, увидели поверх объявления о новом фильме «Дело было в Пенькове» тетрадный листок с надписью: «Показ ввиду болезни отменяется», Клавдия первая возмутилась:

— Алексей, твои послы после чайной, видать, объявления-то не читают! Как сердце чуяло, постирушку хотела завести, так замутили башку! Вам все одно, что в кино, что в чайную, а у меня и дело не сделано, и интерес не получился! Видать, девки, разворотом и по болоту.

Четверуков, которого такой оборот дела не устраивал, чистосердечно пообещал накостылять за дезинформацию

Знобецкому, но Серега, в тот раз действительно уходивший в поселок в качестве гонца, исчез, едва выбравшись из зарослей черемушника на крутояр, и, по всей видимости, в свое удовольствие попивал в чайной пиво.

Поддержала Клавдию и Лидия, но неожиданно всех удивила Татьяна:

— Вообще-то, — кивнула в сторону клуба, — я могу, у меня права помощника киномеханика есть! — от такой новости вначале все пришли в растерянность, но Алексей быстро сообразил:

— Пошли завклубом искать! — ухватил он Татьяну за руку и, затащив ее на покосившееся крыльцо, стал барабанить в запертую дверь.

На стук долго не отзывались, потом густой мужской голос окликнул:

— Ты, Васька, что ли? Маргариты нету. С утра в Междуреченск уехала. — На требование открыть дверь тембр голоса повысился: — Учреждение не функционирует, читайте объявление. — И слышно было, как говоривший удалился. Однако Четверуков не успокоился до тех пор, пока дверь с визгом не распахнулась, и маленький круглый человек в клетчатом пиджаке разъяренно не заорал:

— Нажрался уже? Думашь, если кино нет, значит, дружинников не будет? Я тебя собственноручно к участковому прямо в избу сволоку!

И даже когда узнал, что ему предлагают услуги киномеханика, завклубом (а это был он) в особый восторг не пришел:

— Спалите хлевушку, а отвечать-то мне? Договаривайтесь с Майтаковой — киномехаником. Под ее ответственность, пожалуйста. В шестом финском доме по левую руку она квартирует.

Поселок, в вольном беспорядке расставивший дома вокруг лесопильного завода, зачинался, как многие в этих краях, лесорубами. От них и остались вздыбленные на облысевшем склоне две первые улочки сборных из деревян-

ных щитов двухквартирных домиков, именуемых в разговоре финскими.

Под тенью навеса, протянувшегося от крыльца в глубь двора отсчитанного ими шестого дома, Четверуков с Татьяной увидели черноволосую босоногую девчушку. Она сидела спиной к улице на чурбаке возле небольшой изгороди, внутри которой копошились, надсадно пища, десятка полтора желтых цыплят.

— Эй, цыплячий пастух! — крикнул от ворот Четверуков, — позови-ка нам киномеханика!

Девочка обернулась, на широком смуглом лице ее с узкими черными глазами мелькнуло и исчезло подобие любопытства.

— Эсен эркемай, кизим,[1] — медленно проговорил по-шорски Алексей, — киномеханика, нам, понимаешь... — закрутил рукой почему-то, как вертят невидимую рукоятку, Четверуков.

Девочка поднялась, оправила платье, правая рука ее, забинтованная, подвешена была на груди, на марлевой подвязке через шею, и медленно пошла к калитке.

— Эсен, нанчи[2]! — серьезно ответила она.

— Хозяйку позови, курица, — Четверуков пальцем указал на дверь дома, мимо которого проходила девчонка, — хозяйка в избе или где, спрашиваю? А, может, ты по-русски хенде хох?

— Вам хозяйку или киномеханика? — неожиданно неестественно для нее взрослым голосом произнесла девочка, чем вызвала некоторое замешательство у Четверукова.

— А кто здесь живет? — подозрительно, насупясь, спросил он.

— Шелковниковы, — поправляя перевязь здоровой рукой, ответила девочка.

---

[1] Эсен эркемай, кизим (*шорск.*)—Здравствуй, девочка.
[2] Эсен, нанчи (*шорск.*) — Здравствуй, друг.

— Так что же нам завклубом мозги крутил? — в сердцах воскликнул Алексей. — В шестом доме — киномеханик...

— А я у Шелковниковых на квартире, — объяснила девочка.

— Ты механик? — от удивления Алексей на мгновение потерял дар речи, и только веселый смех Тани освободил его от оцепенения. — Значит, ты, кизим, кинуху крутишь? Тогда у нас к тебе дело.

Кира Майтакова, невозмутимо слушая Четверукова, не очень-то дружелюбно, как показалось Татьяне, несколько раз взглянула на нее.

— Руку я кипятком обварила, а Герман Исаич без меня не разрешит.

— Крутить Танюха будет, ты знаешь, откуда она приехала? — стараясь не вспылить, чтобы совсем не испортить дело и в то же время желая произвести впечатление, многозначительно намекнул Четверуков.

— Ладно, — не отреагировав на его замечание, согласилась Кира, — подождите.

— С гонором, — когда девушка ушла в дом, заключил Четверуков и не сдержал удивления: — подумать, механик— курицын пастух! Я думал, шорцы из тайги не вылазят, по улусам своим сидят, белку да бурундуков промышляют, а тут глянь, — техника!

Татьяна благополучно отработала сеанс, хотя в первую минуту, когда Кира ввела ее в тесную безоконную комнатушку кинобудки, обуяла девушку такая робость, что она была готова уже и отказаться от этой затеи.

Алексея Кира в будку не пустила, объявив, что посторонним вход запрещен!

— Забыла я все! — призналась Татьяна, — ведь я всего полгода помощником работала.

Но Кира неожиданно подбодрила, стала подсказывать.

И в самом деле, с первых щелчков проектора к Татьяне как бы откуда-то из темноты стала возвращаться уверенность узнавания дела, а к концу сеанса она уже болтала с

Кирой, как со старой знакомой. Оказалось, что девушки в один год окончили школу и что родители Киры не очень одобрили выбор профессии, и что она завтра с геологами уезжает к ним в город, где и пробудет, может быть, не только до выздоровления, но и весь отпуск.

Четверуков все-таки к концу сеанса прорвался в будку. Он пришел объявить, что по согласованию с руководством, то есть с Германом Исаичем, у того в кабинете после кино состоится банкет!

Алексей же еле отбил Татьяну у разъездовских, восторженно налетевших на нее у дверей кинобудки после окончания сеанса. Лидия схватила ее в охапку, стала тискать, приговаривая: «Да какая же ты у нас, Танька, разумница!» И Четверукову пришлось не один раз, причем повышая голос, объяснять, что товарища Соснину ждет завклубом для очень важного разговора.

В кабинете завклубом Алексей, оказавшийся там уже своим человеком, моментально со всеми перезнакомил Татьяну, усадил ее на примятый, коричневого дерматина диван между участковым уполномоченным — товарищем сержантом, по неофициальному случаю просто Мишей, и завбиблиотекой — «тоже Татьяной, но, к сожалению, уже замужем!» Муж ее — тихий улыбчивый белобрысый парень, оказался в первых помощниках у Алексея по кулинарной части.

— Давай, Федя, приступай! — распорядился Четверуков, сам присаживаясь на круглый диванный валик, вплотную к зеленой суконной столешнице, на которой уже серебрилась бутылка шампанского в окружении консервных банок, буханки хлеба и целой горы зеленых перьев лука.

Хозяин, Герман Исаич, восседал за столом один, лицом к гостям. Он произнес первый тост: «За живительную, объединяющую силу искусства». От лица актива поселковой интеллигенции выразил Татьяне благодарность и надежду на творческое продолжение знакомства.

Чинный порядок быстро нарушился. Все весело переме-

шалось. Кресло Германа Исаича вытащили из-за стола к дивану, хозяину вручили аккордеон. Татьяна оказалась с Кирой на одном стуле, позади них, уже на другом диванном валике, упираясь спиной в стену, завешанную афишами, умостился Четверуков.

Герман Исаич сыграл вступление, и Татьяна радостно вскрикнув, обняла Киру: «Сто лет не слышала!»

— Я гляжу на фотокарточку, две косички, строгий взгляд... — приятного тембра речитативом начал завклубом.

Празднично, весело было на душе у Татьяны. С этим настроением она и шла темной ночной улицей поселка в сопровождении всей компании, в который раз распевавшей: «Ах, мама, мама, мама, я дежурный, я дежурю по апрелю...»

Их с Кирой проводили до самой ограды финского домика, в калитку которого Федя с участковым инспектором не дали прорваться Четверукову, а повели его по указанию Германа Исаича к нему домой.

Долго еще на сеновале, под ласковым теплым тулупом, не спали девчата. Кира рассказывала о своей поселковой жизни, о городе, в который она обещала свозить Татьяну, потому что за два дня, которые провела в нем Татьяна, по-настоящему его красоты нельзя было разглядеть.

— Видела ты наш проспект? Правда, всего десять домов, но на бульваре папоротник растет, понимаешь, в городе — таежный папоротник?! Тайга вокруг и пятиэтажные громады в асфальте. Когда солнце из-за лысой горы лучами высветит проспект, он становится розовым. А вода в Усе! Ты такой нигде не найдешь: посредине города в речке питьевая вода и, главное, чем жарче лето, тем она холоднее. Она с белков, с горных вершин...

Рассказывала и Татьяна о своем Белоозерске в яблоневых садах, с единственным подковно-гужевым заводом, с площадью, вымощенной булыжником, на которой когда-то проходили ярмарки и стоит старинный собор, теперь клуб, где и работала Татьяна помощником киномеханика.

А жили они с бабушкой в старом домике на бывшей Купеческой, ныне Пролетарской улице.

На разъезд Татьяна с Алексеем вернулись, когда все уже были на насыпи. Алексей начал было объясняться, но Григорий его остановил, объявив, что ввиду технических причин, выразившихся в геройском управлении киноаппаратурой Сосниной, прогул засчитываться не будет.

5

Долго еще на разъезде вспоминали этот случай, тем более, что Кира уехала в город, клуб закрыли, уехал и Герман Исаич, то ли в отпуск, то ли насовсем.

А между тем, тело железнодорожной насыпи все глубже врастало ребрами рельсов в безлюдье пихтача, звоном металла и человеческих голосов приумножая негромкий хор обитателей редколесья.

Лето, вытаявшее из снежных сугробов чесночной горечью весенних корешков колбы, оттосковав робким матово-фиолетовым остролистьем невиданных Татьяной цветов-кандыков, запалив, будто из искр бивуачных костров, у подножия насыпи июньские поляны оранжевых «огоньков», первое Татьянино сибирское лето вызрело трепетной тайной рябиновых ягод. Они высоко и по-осеннему красно висели в гроздьях за стогом сена в конце покоса, куда по вечерам заманивал Татьяну задушевно-загадочный голос Алешкиного аккордеона.

Григорий, повезший жену с больным сыном в Амзас — деревню на месте старого улуса шорцев-охотников, — как и предполагал, к вечеру не вернулся. Лидия, помня его наказ, после ужина, когда в окошко засинел тот сумеречный час, который обыкновенно в последнее время уводил Татьяну из дому, поинтересовалась:

— Не хочешь ли со мной проведать Гришиных девок?

— А чего с ними сделалось? Вон они, по шпалам лазят, — взглянув в окошко, заметила Татьяна.

— Григорий же Нюрке просил пособить по хозяйству, — напомнила Лидия утренний разговор.

— От Лешки все думаешь меня устеречь? — с невеселым смешком спросила Татьяна, но неожиданно решительно сама себе же и возразила: — А почему, в самом деле, не пойти? Только, что будем делать? Корову доить я не умею.

Корову девочка, оказалось, подоила сама. Когда Лидия с Таней вошли в избу, она около печки процеживала молоко, а на скамейке у окна, за столом, сидела гостья, в которой Татьяна не сразу признала киномеханика из поселка.

— Кира! — радостно-растерянно, как бы не веря сама себе, глядя на приветливо улыбающуюся девушку, воскликнула Таня и кинулась к той, затормошила, смеясь, приговаривая: — Лида! Смотри, Кира, из поселка киномеханик! Что ж не показываешься? Разве так можно? Да откуда ж ты взялась у нас?

Кира с отзывчивой приветливостью, но сдержанно, без отзвука волнения в голосе, призналась:

— Вчера вернулась из города. Отец дяде Грише подарок переслал: порох, дробь. Подумала, пока совсем не задождило, по верхней тропе к вам доберусь. А тут повезло, геологи машину в Амзас гнали, к вышкам. Я до свертка в ваш лог по гравийке и докатилась. Да еще отец просил узнать, почему Нюра не приехала.

— Василий Михайлович, Кирин отец,—директор нашего интерната, — с гордостью объявила Нюра, явно польщенная своей хозяйской ролью и тем, что оказалась втянутой в разговор взрослых, — а не приехала — картошку копали. И платье все просила мамку сшить. — На столе, за которым сидела Кира, лежал кусок материи. — Отец вон какой красивой материи купил мне, говорю мамке: «Солнышком надо юбку скроить», а она: «Стану я такую материю на куски пластать!» А теперь когда она вернется?

— Мы же договорились, что я с собой возьму отрез и будет тебе «солнышко», — напомнила Кира.

— Договорились, а как задождит? — засомневалась Нюра.

— Да я в город с кем-нибудь переправлю. А то и сама завезу. В кинопрокат поеду и завезу.

— Чудной дядя Гриша, в наше время больного ребенка, вместо того, чтобы в больницу везти, потащил его к какой-то шаманке, понимаешь, Кира? Строит железную дорогу, а колдунам верит! Нюр, зажгла бы, что ли, лампу! — Татьяна в свете окошка пыталась рассмотреть ткань.

— Счас засветим, спички вот найду, опять девчонки куда-то заиграли, — по-взрослому посетовала Нюра.

Когда над столом вспыхнул желтый язычок керосинки, черной шторой затянуло окошко, как бы подчеркивая уют избы.

— А шаманка — Кирина бабушка, — многозначительно, не без ехидства обьявила Нюра. И после паузы, со значением выдержанной ею, добавила: — А папку нашего от контузии она вылечила!

— Вот те на! — удивилась Таня. — Чудеса какие, а я думала, наши просто подшучивают над дядей Гришей.

— Это не бабушка, а дедушка наш был шаманом. Он давно уже умер,—строго поправила Кира, и Нюра, почувствовав, видимо, что сказала невпопад, вдруг предложила:

— А давайте блины стряпать? Я лучше мамки даже пеку. У меня тоненькие, с дырочками, поджаристые получаются! Давайте, а? Лида, ну чего ты молчишь? — обратилась она за поддержкой к Лидии. — Печка у нас мировая, счас и затопим. — Девочка выскочила в сенки, откуда вернулась с охапкой дров. Через несколько минут в печке загудел огонь, в избе поднялась веселая кухонная суматоха. Не прошло и часа, как в избе запахло вкусным.

— А про маленьких забыли? — спохватилась Кира, — сходить позвать?

— Скажи, что блины, — разрумянившаяся возле печки Нюра в самом деле ловко орудовала сковородником, — а то по-другому не заманишь!

Татьяна вслед за Кирой вышла на крыльцо. Прохлада вечера мягко омыла разгоряченное избяным жаром лицо. Она глубоко вдохнула, как бы попробовала воздух на вкус.

— Опять лето вернулось! С утра дождик, холод, а к вечеру — совсем лето...

— Нет, посмотри на небо, видишь, тучи совсем на перевал насели? Это к долгому дождю. Может быть, ночью и начнется, у нас здесь осень длинная, — спокойно возразила Кира, а Тане показалось, что она даже нехорошо усмехнулась. В это время из-за угла дома выскочили девчонки.

— Люся, Вера, а Нюра блины стряпает, — объявила Кира, — за вами послала.

— А ты не врешь? — недоверчиво остановилась Люська, она была постарше, — Нюрка, поди, воспитывать станет! Она без мамки всегда воспитывает!

Из-за того же угла неожиданно показался Алексей. Увидев Киру, он нисколько не удивился, будто бы знал, что встретит ее здесь, и весело поприветствовал девушку:

— Эсен эркемай, кизим! На блины всех приглашаешь?

— Незваному гостю — обглоданные кости! — опередила Киру Татьяна.

— А как же блины? — приближаясь к крыльцу и как будто не расслышав прозвучавшую в Татьяниных словах неприязнь, невозмутимо полюбопытствовал Алексей. — Вот, кизим, дела! Как ваш брат с нашим братом обращается, — пытался он за пренебрежительным смешком спрятать оскорбленное самолюбие. — Ну да ладно! — мстительно вдруг вырвалось у него. И, не сказав больше ни слова, он пошел прочь.

— Дядя Алексей не любит блинов? — спросила Люська у вернувшейся в избу Киры.

— На-ко, возьми, Люся, горяченький блин, он с холодной сметаной вкуснее, — прямо со сковороды положила перед Люськой блин Лидия.

Блины запивали чаем, настоянном на душице, с вареньем трех сортов: смородиновым, земляничным и малиновым.

Нюра так вошла в роль гостеприимной хозяйки, что придумала оставить всех ночевать.

— На полу тулуп расстелим, уляжемся, и всем хорошо будет. Я помню, у нас еще Верки не было, мы в Мысках к какому-то отцовскому другу ездили в гости, так все вповалку спали. Интересно было, взрослые все говорят, все рассказывают всякие истории.

Лидия приглашения не приняла, сославшись на свою привычку к месту, а Татьяна с радостью согласилась, и против этого Лидия не стала возражать. Ее всей оставшейся компанией проводили до калитки. Ходьбы от нее до вагончиков было минуты две-три. Их окна желто светились в темноте, вздрагивающей от громких аккордеонных переливов.

«Не бродяги, не пропойцы...» — задиристо вторил ладам крепкий мужской голос.

— Кира, а у нас с Веркой бобры есть, — потянула за руку Киру Люська. — Они только не знают, что они наши. Кроме папки мы никому их не показывали, а тебе, хочешь, покажем?

— Это за что же мне такая милость? — засмеялась Кира.

— А мы тебя любим с Веркой, потому что ты... — но договорить Люське не дала старшая сестра.

— Вы опять одни по болоту шлындали? Утопнете, а мне отвечать? Вот запру завтра с утра в избе, узнаете бобров тогда, — пригрозила Нюра.

— Да мы не по болоту, мы через камни, — попыталась оправдаться Люська, чем привела сестру в окончательный ужас.

— Да вы, окаянные, не знаете разве, что там медведь, а? Он счас берлогу подыскивает...

— Да какой медведь, какой медведь, — загундосила Люська, — папка сказал, что они от нас за Шаманов Камень ушли.

— Вот я отцовским ремнем-то вам дорожку укажу, ишь, какие умные! — строжилась Нюра, хотя чувствовалось, что

роль старшей в доме ей очень нравится. — Ну так стелиться айдате. Тулупы в чулане, счас натаскаем.

— А в чулане анчутка, — тоненько пропищала Верка. Она одной рукой держалась за Таню, а во второй у нее была старая, с разбитой глиняной головой кукла.

— Он там неслухов дожидается, — подтвердила Нюра. И, понизив голос, объяснила Татьяне: — Мамка их пугает, чтоб по кринкам да банкам не шарились. А то они там мышатам кормушку устроили из пшена с вареньем! Стелиться-то станем?

— Что-то не хочется спать, — призналась Татьяна. Они возвратились уже к крыльцу, и она присела на верхнюю ступеньку.

— И мне не хочется! — вставила Люська. — Ты, Нюра, нам сказку про волшебников не дочитала.

— Сегодня хватит с вас и блинов, — категорически заявила старшая сестра.

— Сама обещала, — захныкала Люська не очень требовательно, видимо, уже поняв бесполезность спора со старшей сестрой. И как-то без всякого перехода с мечтательным вздохом сказала: — А жалко, что в нашей тайге добрые волшебники не живут.

— Тебе-то они зачем понадобились? — наклонилась над девочкой Кира.

— Добрые волшебники всем нужны, — с неожиданной для нее серьезностью заявила девочка.

— Иди-ка сюда, — подтолкнула Люську к крыльцу Кира. — Подвинься, тетя Таня, немножко, а ты поднимись на ступеньки, Люся! Теперь слушай внимательно! Закрой глаза. Все сидите тихо. А ты, Люся, слушай меня! Лети, лети, лепесток, через запад на восток, — при последних Кириных словах в избе вдруг погасла лампа, и Татьяна ощутила, как из темноты повеяло совсем по-детски волнующей радостной робостью ожидания и таинственности. Это ощущение усиливалось еще и от переменившегося до такой

неузнаваемости голоса Киры, что, казалось, другой кто-то из-за ее спины заклинал:

— ...через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-моему вели! А теперь, Люся, иди в избу, иди до самой кровати с большой подушкой, только не останавливайся, слышишь?!

Маленькая девочка безропотно шагнула в темноту и вроде бы совсем исчезла, даже звуков шагов не доносилось на крыльцо.

— Кира, — беспокойно прошептала Нюра. В тот же миг из избы послышался Люськин визг. Нюра вскочила, с радостным визгом навстречу выскочила Люська.

— Смотрите! Вера, смотри! — она держала в руках две большие, в красивых платьях, куклы, — у мамки под подушкой лежали!

Верка выронила свою с облупленным носом, в недоверчивой радости беря руками неожиданно появившуюся красавицу.

— Ну и чудеса! — любуясь восторгом девчонок, сказала Татьяна.

— Кира их всегда балует, — подтвердила Нюра, — а у меня, как Люська-то завизжала, сердце прямо зашлось. А тут еще и лампа... Кира, ты ведь наколдовала?

— В самом деле? — спросила Татьяна.

— Зря я что ли шаманова внучка? — уже своим обыкновенным голосом спросила Кира, — разве я не волшебница?

— Волшебница, добрая волшебница, — хором закричали маленькие, — теперь зажги лампу, мы в избу с куклами играть пойдем!

— Столько чудес за один раз не бывает, — засмеялась Кира и шепотом, чтобы девчонки не услыхали, объяснила: — С лампой мне неожиданно повезло! По всей видимости, керосин кончился и, как видите, ко времени.

— Ой, ведь правда, — вспомнила Нюра, — вчера допоздна читала, а сегодня с блинами-то забыла заправить.

Но все равно, как здорово получилось, будто в настоящей сказке, Кира.

6

Кирино признание не поубавило общей праздничности. На верхней ступеньке крыльца тесно умостились в один ряд маленькие и взрослые. Но девчонки вскоре поднялись, требуя засветить лампу, и старшая сестра ушла с ними в дом. Было слышно, как Нюра ходила в чулан и обратно, потом из избы неровным светом замигала керосинка, снова услышались восторженные девчоночьи голоса и — стихли: увлеклись ребятишки.

На крыльцо все ближе наступала темнота, успевшая залить черноводом до самых небесных краев таежные отроги. минуту назад еще грифленные четким силуэтом пихтовых стволов. Татьяна спросила в темноте Киру:

— Кира, получается, что твой дедушка... — но Кира, молчавшая как бы в предчувствии этого вопроса, резко так, что Татьяна сразу услышала ее неудовольствие, перебила:

— Ничего не получается!

— Извини, конечно, — Татьяна засмущалась: — Я, понимаешь, впервые в жизни встречаюсь с живым волшебником, то есть с его внучкой, но все равно страшно интересно. Мне все казалось, что из обмана чудес мы вырастаем раньше, чем из своих детских платьев. Твой дедушка... у него его профессия — это, наверно, вроде фокусника, да?

— При чем здесь фокусы! — из-за спины сидящих подала голос Нюра. Она вышла на крыльцо и слышала последние Татьянины слова. — Все так говорят! Какие фокусы? Отца Кирина бабушка вылечила? Врачи отказались. Контузия, говорили, благодари бога, что живой, да руки-ноги пока в действии. А как он мучился, моченьки глядеть не было. — Нюра в интонации, видимо, повторяла мать.

— Это же другое дело, меня бабушка всю жизнь травами лечила. То мать-и-мачеха, то жимолость.., да у нее трав

насушено всяких. Я же говорю: странная профессия у Кириного дедушки была, — повернулась на Нюрин голос Таня и заметила — лица их совсем были рядом, — как в узких Кириных глазах метнулось что-то недоброе и угасло, будто притушенное сумеречной волной.

— У шорцев-мужчин одна была профессия — охота, — терпеливым наставническим тоном заговорила Кира. — А у дедушки был особый талант. Так отец говорит. Шаманов в улусах, по-русски — в деревнях, недолюбливали, боялись. А к дедушке, по рассказам, из-за Порогов приходили. Старики еще и сейчас к отцу заходят. И бубен дедушкин у нас дома хранится. Я дедушку никогда не видела. У нас и фотографии даже нет. Бабушка говорит, что я очень на него похожа, и ей нравится моя профессия. По-моему, в ее воображении должность киномеханика чем-то схожа с шаманством, — тихо засмеялась Кира. — Мне и самой иногда кажется это невообразимым чудом, когда мы все вместе: и зрители в зале, и я в будке, и ожившие герои фильма, — все мучаемся и радуемся, плачем и смеемся одинаково, будто одну жизнь проживаем!

— А я, между прочим, на курсы киномехаников из-за бабушки пошла, — вспомнила Татьяна. — Как она не хотела меня отпускать в Сибирь! На мать сердилась: та не приехала по ее вызову, а написала в письме: «Татьяна—человек совершеннолетний и вправе принимать самостоятельные решения». Деньги прислала, а сама не приехала. Они в поле уходили, не могла она приехать, — уточнила Татьяна, не желая, чтобы ее слова приняли как жалобу.

— Мама твоя — геолог? — догадалась Кира.

— Они с отцом оба геологи. Только мать живет на Кольском полуострове, а отец где-то здесь, в Сибири. Когда я была маленькая, он изредка приезжал на несколько дней. Но бабушка не любит его. По ее словам, он задурил Ольге (это матери) голову и всем нам испортил жизнь!

— Ты хочешь найти его? — спросила Кира.

— Зачем? — Татьяна за все это время, прошедшее со

дня отъезда из дому, ни разу не вспомнила, что отец может быть где-то рядом. Она не сердилась на него, просто ни разу не вспомнила. И поэтому искренне удивилась вопросу.— Я с детства мечтала быть пассажиром. Чтобы ехать, и ехать, и ехать. Чтобы везде быть гостем! Это так удивительно — быть гостем! Мне казалось, что гостя везде ждут и встречают. Один человек попытался мне доказать, что любой поезд в конце концов приходит на последнюю станцию. Я ему не поверила. Теперь-то я знаю, что он был прав. Хуже того: на последней станции не всегда и обратный билет возьмешь!

— Тебя обидел тот, что на блины просился? — догадалась Кира и, не дожидаясь ответа, вдруг предложила: — Слушай, переезжай к нам в поселок? Меня завклубом назначили, понимаешь, а ты будешь киномехаником, а? Жить станешь на моей прежней квартире. Я в завклубовскую при клубе перебралась. А хочешь, так и вместе будем, комната большая, соглашайся, Таня! Начальник партии мужик у нас мировой! С твоим начальством о переводе договорится, так что и подъемные сохранятся, не в Крым же ты переезжаешь. А геологи и отца твоего помогут разыскать, они все могут, вот увидишь!

В разговор неожиданно вмешалась Нюра, тихо присевшая на крыльцо рядом с Кирой, она со свойственной ее возрасту бесхитростностью похвалилась:

— А я вот разыскала папку. Когда он у нас пропал, и геологи сказали, что видели его в Амзасе у шаманки. Ой, Кира, — растерянно оборвала Нюра и виновато заторопилась: — Я же тогда не знала, что это твоя бабушка, а ее все так называли.

— Да и сейчас так называют, — как бы успокоила девчушку Кира, и та обрадовалась, может быть, больше всего тому, что ее на равных правах принимают в разговоре взрослые.

— Когда про отца выяснилось все, мать-то! Как она до этого плакала, а тут отказалась идти за ним и меня не

пускает! А я убегом ушла. Первый раз, когда бабушку Карагай увидела, я почему-то сразу ей поверила. Мамка не верила, да никто не верил, а я поверила. Папка по весне у нас пропал, а домой мы с ним уже по оврагу пришли. Я еще тогда в школе много пропустила. Может быть, ты, Кира, помнишь, как твой отец меня к вам домой привез, а я ведь тогда впервые тебя увидела и все удивлялась, что и тебя и бабушку зовут Карагай, а ты строго-настрого запрещала так себя звать!

— Она во втором или третьем классе училась, — подсказала Кира и повернулась лицом к Татьяне, и опять та увидела короткий всплеск черных искорок в уголке продолговатого ромбика ее глаз, на этот раз высветивших будто улыбкой остроту высоких скул. — Я в школе сама придумала себе имя. Карагай — Кира... созвучно, верно? А все потому, что мне в классе прилепили кличку «шаманка» после того, как отец — он тогда еще не был директором интерната, а просто преподавателем истории и географии — однажды на уроке рассказал нашу легенду.

— А что это такое? — просунув личико Кире на плечо, вдруг обнаружилась с вопросом Люська. Девчонки, оказывается, давно уже вернулись на крыльцо и прислушивались к разговору старших.

Кира подняла руку, потрепала девчонку по волосам, обернулась к ней вполоборота, приподняла ее и посадила к себе на колени.

— А мы с Катей? — плаксиво захныкала Верка.

— А ты иди ко мне, — подвинулась Таня, пропуская вперед девочку с куклой в руках. Опять они оказались все в приветливой тесноте ожидания.

— У нас здесь сосны не растут, — начала Кира, — пихты, лиственницы, кедр, а сосны нет. И только у Шаманова Камня растет одна. Это необыкновенное дерево. Да и не дерево вовсе, а заколдованная красавица Карагай — дочь Хозяина тайги. Она полюбила бедного охотника. Тайком от грозного отца они встречались на нашем

перевале, но вездесущий ветер донес о них Хозяину.

— Я запрещаю тебе видеться с этим охотником, — сказал отец дочери.

— Мы любим друг друга, — сказала Карагай отцу, — и я хочу быть его женой.

— Я лучше прокляну свою дочь, чем отпущу ее в охотничий улус! — вскричал в гневе Хозяин тайги. — Он не пара тебе!

Но дочь не послушалась отца. Однажды тайком она прибежала на перевал, где ее поджидал молодой охотник. Не успели они взяться за руки, как прогремел гром и грозный Хозяин тайги предстал перед ними.

— Как ты посмел прикоснуться к руке дочери Хозяина тайги? — спросил он юношу.

— Мы любим друг друга, — храбро ответил тот. — И я вечно буду любить ее! Нет такой силы, которая бы запретила мне, даже и ты, Могучий Хозяин!

— Мне нравится твоя храбрость, — сказал Хозяин тайги, — и пусть люди на века сохранят память о таком смелом охотнике, а для этого я сделаю тебя камнем, будешь памятником самому себе! — он махнул рукой, и молодой охотник превратился в Шаманов Камень.

Долго плакала Карагай, умоляла отца оживить охотника. Она даже согласилась отказаться от него, не выходить за него замуж, только бы он вновь стал человеком. Слезы ее растопили жестокое сердце отца, и он признался ей:

— К сожалению, и власть Хозяина тайги не безгранична. Чтобы оживить охотника, нужно раздобыть каменный огонь. А он хранится в солнечном камне глубоко под землей. Я сам давно мечтаю об этом богатстве, но Отец-Солнце бережет его для кого-то другого. И пока тот не объявился на нашей земле, каменные чары не сойдут. Когда это будет, не знает никто! Поэтому перестань плакать, возвращайся в родное урочище, и я найду тебе среди владык озер и рек подобающего жениха!

И тогда Карагай опустилась на колени перед холодным

камнем. Прикоснулась рукой к нему, потом вскинула руки к небу:

— О, всемогущий Отец-Солнце! Пусть я рядом с любимым стану деревом, чтобы он мог слышать, как шелестят на ветру мои ветви-руки, и мы вместе с ним станем ждать назначенного тобой часа!

— Опомнись, дочь! — вскричал Хозяин тайги. — Разве ты не знаешь, что только Великий Шаман может разговаривать с Отцом-Солнцем? Не навлекай на себя и на своего отца гнев!

Но Отец-Солнце не рассердился на девушку. Ему ли было не знать, что такое настоящая любовь?! И он горячим лучом благословил Карагай! На глазах всех охотников, наблюдавших издалека за происходящим на перевале, вскинутые руки Карагай превратились в ветви, покрытые зелеными иголками, а ее прекрасное тело — в ствол, одетый в золотистую кору.

В горе дождливой грозой загремел Хозяин тайги. В ужасе бежали от перевала охотники. Только один старый Майтак остался подле холодного камня, у подножия сосны. Карагай — по-русски так и значит: «Сосна».

Молодой охотник был сыном старого Майтака. Никто не помнит, сколько с тех пор прошло лет, но все старшие сыновья в роду Майтаковых были шаманами. Самые важные камланья они всегда совершали у корневища Великой Сосны, возле Шаманова Камня...

Громкое лошадиное ржанье в близкой от сидящих на крыльце темноте испугало всех. Девчонки взвизгнули. Вслед за ржаньем послышалось добродушное ворчанье хозяина:

— Узнал, шельма, дом-то, к своему углу у каждого радость! — Лошадиная морда раздвинула темноту возле ограды.

— Папка! — соскочили обрадованные девчонки с крыльца и кинулись отворять ворота.

— Ой вы, пигалицы, мои помощнички, — расчувство-

ванно, хмельно с телеги закричал Григорий, — а я вам медку да с сотами привез посладковаться! Мамка с братишкой у шаманки пока гостевать остались, а отец-то ваш-служивый, значит, умри, а будь, и все!

— А у нас Кира гостит, — объявила въехавшему в ограду отцу Люська, — ой, каких она нам кукол наколдовала, папка!

— Майтакова? Вот те клин, как хорошо! — соскочил с телеги Григорий. — Постой-ка, родимый, — натянул он вожжи и подошел к крыльцу. А — я-то от бабки твоей, Кира. Митяшку отвез. Врачи говорят, грыжу резать, а каво в нем резать-то? Ну так ты, молодец, счас чай с медком бабкиным попьем! Нюр, сыми с телеги туесок! А тут и еще гость-то? Никак Соснина? Это для пригляда за девками тебя Лидия нарядила?

— Да они, дядя Гриша, у тебя и без догляда молодцы. Нюра нас такими блинами угощала!

— А это ты правду говоришь, лучше моих нету, — сграбастал в охапку Люську с Веркой Григорий, — ну так и ты с нами чай-то пить! Я коня распрягу пока, а ты, Нюр, хозяйствуй! — распорядился Григорий.

7

Лидия спала. И Татьяна, осторожно разобрав свою постель, попыталась уснуть. Но всплыла над подушкой бессонная память.

Она представилась вначале ликом бабушки. Не тем лицом со строго сжатыми губами и непререкаемым взглядом, тень которого хранит фотография в Татьянином чемодане, а живым, с печатью беспомощной озабоченности и сострадательной любви, лицом, которое Татьяна видела в последний раз через глухое окошко железнодорожного вагона.

По мнению бабушки, Танюшка была несчастным ребенком. По мнению соседей и членов комиссии горисполкома, как сказала директор школы, Татьяну испортило «свобод-

ное воспитание». Зато в глазах мальчишек, что вечерами собирались на вокзальной площади к московскому поезду, Тата слыла «клевой чувихой». С этим же поездом попадали новые слова и фасоны в маленький городок, в котором жила Татьяна с бабушкой в домике за оврагом, за узеньким мостиком, в окружении старого сада. Бабушка копалась в грядках, выращивала витамины «для ребенка» и раз в год ходила вместе с Танюшкой встречать московский поезд. Это когда приезжала мама.

Со временем Таня стала одна ходить на вокзал. Только она встречала и маму, и папу. Папа останавливался в гостинице, куда днем разрешалось ходить и Татьяне. Раза два он сам приходил в домик за оврагом, приносил подарки, игрушки. С бабушкой разговаривал очень вежливо, тихо. И хотя он так и не признался в том, Таня была уверена, что бабушку он боялся. Татьяна же ее никогда не боялась, поэтому и ходила встречать отца.

— Ты любишь меня? — спросил однажды отец, когда они обедали в ресторане гостиницы тайком от бабушки: отец просил не расстраивать ее. Он был очень высок и худ, с большими, будто раз и навсегда обиженными глазами.

Татьяна немного чуждалась его. Она не знала отцовских привычек, в нем для нее все казалось неожиданным, любопытным, и с ним всегда было нелегко.

— Я люблю тебя, как Деда Мороза! — призналась Татьяна. И запомнила на всю жизнь, что глаза отца сделались совсем печальными, он долго качал головой в раздумье и с удивлением, но без радости сказал:

— Ты совсем уже взрослый человек, Танюха!

С тех пор она с ним не виделась.

«Ты совсем уже взрослая!» — сказала однажды и мама. Она по-прежнему приезжала каждую осень, когда клены на привокзальной площади становились рыжими, а в сквере, где вечерами на маленькой эстраде играл мальчишеский квартет, кленовые листья лежали на дорожках мягко и густо.

— Ты совсем уже взрослая, Танька! — удивилась мама, когда обнаружила на перроне невысокую сероглазую девушку в черном, облегающем фигурку платье и в туфлях на каблучках.

— А ты все такая же! — обрадовалась неизменной материнской красоте Татьяна и на этот раз подставила ей для поцелуя щеку.

— Помаду боишься размазать? — обнимая дочь, весело догадалась мать и, оторвавшись, впервые поглядела на нее долгим изучающим взглядом, по-женски отметив и со вкусом сделанную прическу, и модные деревянные бусы. — А я тебе опять куклу привезла, смешно? — виновато сообщила мать, и Татьяна впервые подумала, что будто она не встречала, а провожала мать, и, чтобы не заплакать, спросила:

— Она закрывает глаза? — и, улыбаясь только губами, добавила: — Та кукла, которую ты привозила в прошлый раз, уже не закрывает глаза.

Может быть, Татьяна и не удержала бы слез, если бы в это время не появился Борька.

— Познакомься — это Борис, — сказала Татьяна матери. И когда та протянула ему руку, Борька — он, наверное, долго репетировал этот момент — нарочито непринужденно поклонился и сказал:

— Очень приятно! Тата говорила мне, что вы должны приехать.

— Тата? — непонимающе спросила мать, потом засмеялась, — ну да, конечно, Тата. — А Татьяна заметила, что, пожалуй, матери больше, чем ей самой, хотелось заплакать.

Мальчишки, которые вечерами собирались в сквере на привокзальной площади, дрались из-за права танцевать с Татьяной, а матери девчонок-соклассниц запрещали тем дружить с нею и попеременно жаловались директору школы. Директор так и сказал Татьяне:

— Соснина, родительницы возмущены. Они требуют мер! Соснина, это ужасно! Мало того, что ты ходишь в обнимку с парнями по городу, так еще и целуешься у всех на глазах!

Это случилось незадолго перед материным приездом, когда Татьянина последняя школьная осень уже устилала желтыми листьями вокзальный перрон, где они прогуливались с подругами, провожая взглядом удаляющиеся в неизвестность поезда.

— Мне кажется, я могла бы на всю жизнь поселиться в вагоне. Дорога — это же каждый час новое! А главное, пассажир, пока он в дороге, всегда ведь чей-нибудь гость, даже если его нигде не ждут, он все равно гость, потому что едет куда-то! — мечтательно говорила Татьяна смотревшим вместе с нею вослед поезду подругам. — Я хочу всегда быть пассажиром!

— Но быть пассажиром, к сожалению, можно только до вокзала. Всякий поезд приходит на последний вокзал, откуда он должен возвращаться! — возразил Татьяне мужской голос.

От неожиданности кто-то из девчонок вскрикнул, а Татьяна, досадно обернувшись через плечо и кинув возмущенный презреньем к незваному комментатору взгляд, вдруг увидела заслонившую ей весь мир ласковую и яркую синеву его глаз.

— А разве возвращение — не та же дорога? И почему бы из возвращения вновь не вернуться? — как будто продолжая разговор, спросила Татьяна, хотя спорить почему-то вовсе не хотелось.

Он вместо ответа протянул Татьяне свою большую красивую ладонь, в которую Татьяна, не задумываясь, опустила свою руку. А он, как будто так и надо, крепко и властно забрал эту руку и назвал свое имя, которое и без того у всех девчонок городка не выходило из разговора.

— Я вас запомнил с того дня, как вручал вам грамоту на городском смотре, — медленно выпуская Татьянины пальцы, сказал он.

Запомнила тот день и Татьяна, потому что как раз тогда начались разговоры о новом директоре Дома культуры.

— Вы помните, я вам сказал, что у вас талант? — его

горячая и крепкая рука обхватила Татьянин локоток, которым она впервые в жизни почувствовала необыкновенную власть руки.

Эта власть, невидимая для подружек, но головокружительно ощутимая Татьяной, вырвала десятиклассницу из детства, из последнего школьного лета и окунула в новую, неизведанную жизнь.

Калитка на задах бабушкиного сада, охранительница Татьяниной тайны, была единственной свидетельницей ее слез. Даже луна, пожалуй, не могла их видеть, потому что плакала Татьяна, сидя в траве, опершись спиной о ствол старого клена, ухом вылавливая из ночных шорохов исчезающий ритм его шагов.

— Мне кажется, что железнодорожный кассир уже выписал мой плацкартный билет, — грустно (Татьяна научилась распознавать любой оттенок его голоса) сострил он в ответ на ее слова о том, что ей кажется, что с ним что-то случилось.

— Как это? — не поняла Татьяна. — А я?

— Ты зеленый лепесток, а я — жухлый лист, — и чувствую уже подталкивание осеннего ветра. Это грустно, но такова жизнь, понимаешь? — с великой скорбью сказал он. И Татьяне его стало так же жаль, как было однажды жаль бабушку, бессонно мучившуюся от зубной боли.

Поэтому Татьяна и заплакала, а он вдруг исчез, внезапно, как и объявился когда-то на железнодорожном перроне.

Несколько дней и вечеров Татьяна не выходила из дома, к удивлению бабушки. Но постепенно смутное беспокойство, схожее с ощущением потери, стало мешать ей и наконец вытолкнуло вечером на перрон, где неожиданно повстречался ей Борис, вернувшийся с каникул одноклассник, с седьмого класса неизменный и верный Татьянин рыцарь. Он радостно разулыбался, веселый, загорелый, по-взрослому крепко пожал протянутую Татьяной руку и, обманувшись вспыхнувшим блеском ее глаз, не по-мальчишечьи нежно коснулся ее плеча. А Татьяна смотрела ему за спину. На-

встречу им шли двое. *Он* осторожно вел женщину под руку, и Татьяна почти услышала тихие слова, которые он нашептывал своей собеседнице в уши, в которых дрожали капельки-сережки. Двое подходили совсем близко.

— Борь, поцелуй меня! — озаренная еще не понимаемой ею обидной ревностью, потребовала Татьяна.

Борька, лучший боксер, мальчишка с остро развитой реакцией, замер, потом губы его быстро коснулись сухих сжатых Татьяниных губ. Прохожие, случившиеся рядом, ахнули. Двое, не замечая никого вокруг, прошли мимо.

Танька растерялась, Борька ничего не заметил.

А потом был разговор у директора школы по поводу поцелуя, встреча с матерью, привезшей ей в подарок куклу с закрывающимися глазами. Потом она с Борисом танцевала на выпускном вечере в школе и целовалась с ним в охранительном окружении девчонок и мальчишек на перроне, провожая его на службу в армию, уже закончив к тому времени курсы киномехаников. Она работала в том же самом Доме культуры, где только для нее одной напоминанием о невозвратном лете стоял у нового директора на столе письменный прибор с чугунными вздыбленными лошадьми над всегда пустыми чернильницами.

Но все эти годы, вплоть до того самого дня, когда, услыхав со сцены ДК выступление веселого агента по оргнабору, Татьяна неожиданно надумала поехать в Сибирь (на самый конец географической карты!), все это время она жила в каком-то раздражительно обманном состоянии ожидания, недоверия, в ощущении непонятной потери.

— Горе ты мое горькое! Сиротинушка несчастная! — причитала бабушка на перроне во время проводов. Но Татьяна не жалела ее в тот момент. Она изнемогала от нетерпения скорее почувствовать себя свободным пассажиром, как ей мечталось давно, почувствовать себя наконец гостем, в роли которого так просто и приятно быть всегда.

В долгом, через всю Россию катящемся житье скоро распознала Татьяна неудобства гостевой жизни, разглядев

странную разъединенность вагонного многолюдства. И замерещились ей во встречных станциях и полустанках будто узнаваемые уголки, фронтоны, ступеньки и киоски, на суетливых вокзальных женских фигурах вроде бы замелькал бабушкин платок, в песенном бесшабашье праздных вербованных услышалась боязливая тоска неизведанности и одиночества.

Такой, испуганной в душе, но на вид дерзкой, вызывающей объявилась Татьяна на разъезде, где будто бы в ожидании ее таилась нерастраченная сердечность Лидии, незаметно взбодрившая Татьяну.

Конечно, мозоли, разожженные черенком лопаты на Татьяниных ладонях к вечеру первого дня работы на насыпи («Ты гляди, как бы от этих кровей краска с ногтей не полиняла», — ехидно заметила Клавдия Торба, откровенно недоброжелательно встретившая появление новой работницы в вагончике, на Лидиной половине), мозоли, казалось, навсегда исковеркавшие руки, омытые Татьяниными слезами, зажили бы и сами собой, без Лидиных примочек и бинтований. Но эти поутру мешавшие надевать рукавицы-верхонки марлевые повязки будто пестовали угнетенную одиночеством душу, оживляя ее тем самым естественным упорством, с каким начинающий ходить ребенок, упав, поднимается в слезах, чтобы сделать новый шаг, находя поддержку своему мученичеству в обнадеживающем сопереживании матери.

За полгода жизни на разъезде в Татьяне многое изменилось, хотя ей остро не хватало потакающей бабушкиной жалости. Поэтому Татьяна и в Лидии с близорукостью эгоистичной наивности видела прежде всего нечто от бабушки.

На крыльце Григорьева дома, слушая Кирину сказку о шаманах, Татьяна подсознательно не упускала из вида утихавшие вагончики, погружающиеся в сон. Даже когда звуки ее шагов вспугнули откликнувшуюся в кустах птицу, Татьяна ловила слухом другое, ожидаемое движение. Она прежде, чем подняться по ступенькам в вагончик, задер-

жалась, и только потом уже тихо открыла никогда не запирающуюся дверь, не догадываясь, что поджидает ее долгий и назойливый шепот бессонницы. Татьяна покаянно засомневалась, нужно ли было в присутствии Киры грубить Алексею, хотя она и была тайно уверена, что он все-таки проявит настойчивость.

Настойчивость эта вначале вызвала в Татьяне упрямое противоборство. В детской же, мгновенно передавшейся ей взволнованности поцелуя открылась для нее та недостающая частица радости, которая и наполнила бытие уверенностью и бесстрашием осознания слабости и силы ее женской сути.

Лопата, ставшая привычной, все-таки не теряла своего свойства к концу дня обрастать тяжестью. В минуты возвращения с насыпи она выблескивала в свете солнца на плече Алексея, шагавшего рядом.

Выходило так: каждый из них для себя, наособицу, распознавал в жизни что-то такое, что однажды все-таки вынудило Татьяну на разговор с Лидией о любви, так неожиданно заглушенный слезами.

Вечером, когда они с Алексеем сидели около дальнего Григорьева стога, а в нескольких шагах от них, на пеньке, вдруг вскинулся на задние лапки юркий полосатый зверек и, как-то вопрошающе подергав по сторонам остренькой мордочкой, упал и будто растворился в шуршании листопада, Татьяна, не зная почему, спросила:

— А ты веришь в любовь?

Перед этим они целовались. То есть, как это было всегда, Алексей держал ее голову на изгибе левой руки, отчего у Татьяны сами собой закрывались глаза. А когда его губы прерывали ее дыхание, их постоянно изменчивое напряжение улавливалось ее глубинным, каким-то клеточным слухом и безошибочно распознавалось ответным отголоском. Никогда Татьяна не задавалась подобным вопросом, но отчего-то, успев еще увидеть веселого зверька, выдохнула невзначай:

— А ты веришь в любовь? — она успела отодвинуться от Алексея.

— Я, Тань, без обмана, — под Алексеем, ломаясь, затрещали сухие стебли. — Я не как другие, мозги компостировать не люблю. Жениться я ведь не обещал, верно? Куда хомут одевать, если я еще и стойла-то своего в жизни не определил? А тебе зачем? Так, что ли, нам плохо? Ну, если ты что-нибудь того... — опять хрустнуло сено, и хотя на этот раз Татьяна повернула лицо в сторону Алексея, воздух она хлебнула уже без травяного настоя.

— Дурак ты, Леша! — глядя в добродушно-веселые глаза парня, совсем не зло, а как бы с удивлением сказала Татьяна и резко поднялась. До самых вагончиков Алексей что-то говорил, но она не откликалась. И днем на насыпи сторонилась его, так и не дав ему нести свою лопату, увязавшись будто бы в очень интересующий ее разговор с Лидией.

Неспроста и Лидия позвала с собой Татьяну в дом Григория, хотя и словом не обмолвилась о своей догадке, то ли жалея ее, то ли радуясь случившемуся. Татьяна же сама не осознавала по-настоящему своего порыва.

Алексей, конечно, услыхал в ее словах обиду, страх, требовательно посягающий на его холостяцкую жизнь.

Между тем Татьяна не рассердилась, не обиделась, а после Алексеевых слов как бы взглянула на себя сторонним взглядом. Ей, ослепленной ласковой жадностью Лешки, вдруг открылась житейская непутевость их отношений.

И то, чем она молчаливо гордилась перед всеми, представилось ей обидным и жалким, достойным осуждающих взглядов, недобрых намеков, не столько, может, виденных и слышанных ею, сколько придуманных уже пристыженным воображением.

Но, когда за углом Григорьева дома она услыхала голос Алексея, а затем и увидела его самого, веселого, как всегда, Татьяна не помнила ни о какой обиде, она простила ему. Поэтому-то она после приезда Григория так заторопи-

лась к вагончикам, покойная тишина которых потом горечью разочарования долго не отпускала ее в сон.

8

Под утро сыпануло в стекло пригоршней капель с неба, и зачастил перестуком дождь.

Татьяна сквозь сон слышала, как поднялась Лидия, о чем-то в коридорчике переговаривалась с Клавдией, потом, видимо, затапливали печку. Ей не то чтобы не хотелось просыпаться — она просто не могла осилить приятное забытье. Еще немного, и Лидия позовет, дернет за одеяло: так бывало всегда. Но Лидия не звала, в их с Клавдией голоса вмешался хрип Григория, и тогда Татьяна проснулась окончательно. Лидия заглянула в дверь:

— Можешь отлеживаться! Григорий по случаю дождя отгул объявляет до обеда. Только обложило так, что просвета не видать. Как бы не на весь день. У нас такое тут по осени случается. И на неделю, бывает, зайдет. Ну да мы рукодельем займемся, вязать стану тебя учить, хочешь?

Но заняться вязанием им не удалось. Часа за два до обеда сквозь дождевую морокоть вдруг пробился железный стук колес на линии и не укатил в пихтовые дали, а затормозил на разъезде, в момент выманив под дождь всех до одного. В дрезине, оказалось, приехала из города целая делегация во главе с заместителем председателя постройкома, чтобы провести собрание!

Поскольку подходящего помещения для этого случая на разъезде не было, а с «открытого неба» лилось как из ведра, городское начальство приняло предложение Григория разместиться у него под навесом, откуда в спешном порядке, под недовольное кудахтанье кур была переселена в стайку вся живность, за исключением боровка, с протестующим визгом убежавшего в кусты. Скамьи соорудили из плах и шпал, стол для президиума, принесенный из избы,

покрыли зеленым атласным покрывалом, так как кто-то правильно подсказал, когда Нюра застлала его было клеенкой, что это сразу напомнило вроде бы большую складчину, чем, конечно, компрометировалась серьезность момента.

Зампредседателя постройкома начал с того, что до удивления развеселил разъездовских, сообщив им необыкновенную новость: оказывается — бригада Чичинакова завоевала в соревновании за прошедший квартал первое место!

Работали себе вроде бы как всегда. Клали один к одному, казалось, не имеющие конца рельсы, ворочали гравий — и на тебе!

— Ваш трудовой энтузиазм позволил нам значительно скорректировать планы, — заговорил зампредседателя постройкома. — Через две недели на ваш трудовой аванпост высадится десант основного контингента строителей. Они начнут возводить промбазу, капитальное жилье, с тем, чтобы открыть экскаваторам дорогу к углю. Весной должен быть поднят первый ковш вскрыши!

Удивительную и совсем непохожую на теперешнюю жизнь разъезда рисовал перед восторженно ошарашенными чичинаковцами — так он их назвал — зампредседателя постройкома. Но еще прежде самому Григорию был вручен вымпел-треугольник с написанными на нем золотыми словами: «Победителю в социалистическом соревновании».

После короткой речи зампредседателя постройкома началось вручение премий авангарду победителей. Каждому из них в собственные руки был даден конверт: премия.

И, конечно, первому после Григория конверт был вручен Алексею Четверукову, а справедливость этого акта разъездовцы подтвердили веселым всплеском аплодисментов, заглушенных бравурными аккордами аккордеона.

Алексей от имени трудящихся передового разъезда сказал речь. Григорий, получая вымпел, что-то такое попытался выговорить, но не смог, и выручил Чичинакова все тот же аккордеон, веселым маршем затенивший бригадирский конфуз.

А Четверуков сказал и о преодолении трудностей, и о слаженности коллектива, и о том, что дело, конечно, не в деньгах, но если учесть отдаленность от промышленных центров, где хоть каждый день ходи в кино, пей пиво и мойся в коммунальной бане, хотя чичинаковская баня по-черному, безусловно, имеет особую прелесть, то может, еще и на все это надо бы поглядеть с особой стороны!

Зампредседателя постройкома зааплодировал первым, как бы подчеркнув значимость сказанного Алексеем, и объявил о закрытии торжественной части.

Оказывается, приготовлена была и вторая, не менее занимательная часть собрания! Норов у сибирской осени перекидистый. Пока под чичинаковским навесом разводили тары-бары, с перевала свалился нешибкий ветерок, порастолкал тучи и высветилось будто бы вступление к предстоящему концерту агитбригады солнце.

Артисты — их было трое: аккордеонист и две певицы — свое выступление начали с куплетов, прославляющих Григория: «Не зря медали на груди у Чичинакова сверкают! Он вражью нечисть покорил, теперь тайгу он покоряет!» «Девичья сибирская пляска», может быть, немножко проигрывала оттого, что стук каблучков у девчат не прослушивался, под навесом пола-то не было! Зато уж полный восторг вызвали стихи про любовь, прочитанные Валентиной Маленниной — одной из артисток, резвой толстушкой, оказавшейся еще по совместительству и буфетчицей!

Буфет вконец разволновал разъездовских. В помощь Валентине Григорий определил Алексея. Под его руководством с дрезины принесли картонные коробки с конфетами и мандаринами, ящики с шампанским и пивом «Таежное».

В ярком концертном платье-сарафане Валентина с прибаутками открыла торговлю, а Четверуков по обязанности первого помощника находился подле нее.

Когда мандариновые страсти немного приутихли и аккордеонист в широком вальсе раздвинул меха, Алексей, на-

полнив стакан шампанским и протянув его Валентине, сказал:

— За столом у нас, сами понимаете, никто не лишний! — Валентина выпила, зажмурившись, а когда приняла из рук Четверукова конфетку, лукаво улыбнулась и сострожилась. Зато у Алексея, казалось, напрочь прожгло губы улыбкой.

— За кассу у нас вам волноваться нечего, — продолжал по-шефски опекать гостью Четверуков, — и поэтому позвольте пригласить вас на танец!

На приглашение артистка-буфетчица откликнулась охотно, улыбаясь всем лицом. Татьяна, опершись о столб спиной, сумрачно и тоскливо доедала в одиночестве третий мандарин. Поначалу рядом с ней была Лидия, но ее отозвал Григорий, что-то пошептал на ухо, и она заспешила в дом, видимо, помогать Григорьевой жене в хлопотах к праздничному застолью. Григорий не мог просто так отпустить редких и дорогих гостей.

Клавдия Торба потянула на круг заместителя председателя постройкома. Он шагнул, предварительно расстегнув пуговицу пиджака на объемистом животе, потом как-то примерясь, топнул одной ногой и, неожиданно легко подпрыгнув, зачастил такой частой каблучковой дробью, что Клавдии пришлось кинуться вдогонку. Она быстро вошла в ритм и по-молодому озорно, дразня, заголосила: «А я надену юбку клеш, кофточку в горошинки, мы не девки, мы не бабы, а мы просто брошенки!»

Отозвался, и тоже звонко, зампредседателя постройкома: «Я парнишка молодой, лес рубил густой, густой! Под пеньком нашел миленку, на ночь снес ее домой!»

Четверуков с новой знакомой танцевали в стороне, и разговор у них, было видно по всему, шел о чем-то веселом. Татьяна слышала, как взойкнула смехом, беспечно откинув назад украшенную блестящим картонным кокошником голову Валентина.

С самого утра, когда все разъездовское население под дождем встречало дрезину, Алексей не то чтобы слова не

сказал Татьяне, а вообще будто бы и не замечал ее. Татьяна догадывалась, что это месть за вчерашнее на Григорьевом крыльце, и готова была первой сделать шаг к примирению, однако подчеркнутое на глазах у всех веселое ухаживание Четверукова за приезжей артисткой-буфетчицей остановило ее. Она все более хмурилась, раздражалась и в конце концов ушла к себе в вагончик, между прочим заметив, что ее уход никого ни на минуту не обеспокоил.

Руки за голову — лежала Татьяна поверх одеяла, слыша неразборчивые, приглушенные звуки то музыки, то голосов. Вспомнился вдруг Белоозерск, тот самый вечер на вокзальном перроне с испуганным Борькиным поцелуем. На видение наслаивалось более близкое — Алексеевы слова: «Я Тань, не как другие, я без обмана!..»

И представилась ее теперешняя жизнь самым настоящим обманом.

Как серый язык снега притаенно лежит все лето где-нибудь на дне глубокого распадка, откуда веет холодком, так и в уголке Татьяниной души скрыто стыл страх перед жизнью, который еще в железнодорожном вагоне, везущем ее в неведомую Сибирь, вдруг разбудил ее однажды ночью. Обида на Алексея все росла, и Таня сама не замечала слез. Они, скатываясь к подбородку, неприятно холодили шею. В отчаянии своем она стала искать выход. И показалось, что он есть: Кира приглашала вчера ее работать в клуб киномехаником. Иллюзорная, но всегда обольстительная тяга к воображаемой жизни подняла Татьяну с кровати. Нужно было действовать, действовать немедленно!

Она вытащила из-под кровати чемодан, открыла было его, но, захлопнув, задвинула на место. Сдернула с плечиков над кроватью платья, сунула их в сумку, где у нее хранилась косметика, письма, туда кинула деньги, полотенце, надела брюки, кофту, обулась в белые резиновые сапожки, купленные в поселковом магазине, постояла немного в раздумье. Вновь вытащила чемодан. На самом дне отыскала прозрачную накидку, лежащую там со дня приезда, и ее запиха-

ла в сумку. На глаза Татьяне попался старый номер «Огонька», она достала губную помаду и долго вычерчивала слова: «Я ушла в поселок». Такие записки она всегда оставляла для бабушки, исчезая по вечерам из дома.

Несколько раз она перечитала написанное, положила журнал на Лидину кровать и пошла из вагончика. Чтобы попасть в лог, по которому поднималась тропинка к большой дороге, нужно было обогнуть насыпь, перейти железнодорожную линию с замершей дрезиной. Невнятная колея — по ней ходили и ездили не часто — заманивающе стлалась под ноги, торопя к свертку у старого пня, за которым как бы и кончалась разъездовская жизнь. И пень, как показалось Татьяне, замаячил впереди — высокий острощепный обломок старой лиственницы, вроде бы межевой столб между оставляемой и новой неизвестной, но желаемой жизнью.

9

Лидия заметила Татьянино отсутствие, когда тесно, в веселом шуме, стали рассаживаться в Григорьевом доме обедать. Улучив момент, она спросила Четверукова. Алексей, недоуменно пожав плечами, даже не остановил разговора с внимательно слушавшей его приезжей артисткой. Лидия поняла, что Татьяна запряталась в вагончике. Поприветствовавший гостей хозяин дома выговорил Лидии:

— Что это дисциплину рушите-то, Танюшка чего запоздилася? — и распорядился: — Люська, сбегай покличь, скажи, что серчаю. Не на именины собрались поди, на общее мероприятие, скажи!

Ко времени возвращения Люськи восторженная разноголосица застолья настолько сосредоточилась вокруг пельменей из медвежатины, что даже Лидия отмахнулась от девчонки, пытавшейся ей объяснить подробности поисков тети Тани.

Провожали гостей с песнями, частушками, и дождь, заморосивший вновь, не в силах был остудить всеобщего веселья. Долго и благодушно мокли еще разъездовские, глядя вслед увозящей неожиданный праздник дрезине. Когда обнаружилась знобкость погоды, заторопились, побежали к вагончикам. В коридорчике Клавдия, вытирая ноги, вспомнила:

— А Танюха-то чего взбрыкнула, Лид? — и вместе с Лидией сунулась на их половину. Пустой закуток, еще осветленный жидким предвечерьем, испуганно остановил их.

— Где же она? — недоуменно спросила Клавдия. Отчего-то женщин охватила тревога, они осторожно вошли в вагончик и огляделись. Так же осторожно, ни слова не говоря, подошла Лидия к своей кровати, кинула на стол валявшийся на одеяле журнал, села, обводя еще раз глазами пространство. И тут взгляд ее остановился на журнальной обложке. Она взяла его в руки. Красно и пугающе бросился в глаза излом букв: «Ушла в поселок».

— Ну и гад Лешка, — вырвалось у Лидии, и она протянула Клавдии журнал, — допек-таки девку!

Четверуков будто ждал за дверью сигнала для своего выхода. Едва Лидия произнесла его имя, как он, белозубо щерясь, высунулся из-за косяка:

— Все дома ваши? Не надо ли вам наших?

— Ты, кобель, не изнахратил ли девку?—грозно вскрикнула Клавдия. — Говори, отчего она в тайгу убегла?

Лешка обидчиво спросил, кривя губы:

— Откуда ты, Клавдия, сорвалась?

— От меня, что ль, Танька убегла? — съязвила Клавдия. И тогда только Алексей понял, что Татьяны нет дома.

— Как же так? — с вопросом перешагнул он через порожек, двинулся было к Татьяниной кровати, но остановился около табуретки и сел. А в дверях уже гудел Григорий:

— Это, бабоньки, что же получается перед руководством, я вас спрашиваю?

Ему доложили о случившемся. Незаметно все население

разъезда, включая Люську с Веркой, втиснулось в вагончик, и стало обсуждать предполагаемые причины Татьяниного ухода. В итоге сошлись на мнении, что страшного-то ничего не произошло, если, конечно, она не заплутает, но опять же выходило, что плутать-то особо и негде, потому что как ни мотайся, а лог-то обязательно должен вывести к большой дороге.

В разговорах все обращались к Лидии, она же больше отмалчивалась, чувствуя непонятную личную обиду.

10

Лидия проснулась раньше обычного, внезапно, как пробуждаются от стука, хотя не было слышно даже дождевого шороха за окном. Ясно и отчетливо Лидия вдруг поняла, что Татьяна заблудилась. Поняла это с осознанием своей вины. В осеннем высоком травостое и опытному таежнику нелегко ориентироваться, а что взять с городской девчонки, не ходившей одной по тайге дальше Григорьевых покосных угодий, да и то под Алешкиной опекой?

«Ну как же я об этом вечером не подумала, — корила себя Лидия, — почему не побежала догонять?» Главное, чего не могла себе простить Лидия, это то, что не взяла она Татьяну с собой, когда Григорий послал ее кухарничать. Чувствовала ведь, какое у нее настроение! Пришел на память и их ночной разговор. Вспомнились и Алексеевы зигзаги вокруг приезжей артистки-буфетчицы. И опять корила себя Лидия за свой недогляд.

С утра разговору, конечно, только и было, что о Татьяне. Постепенно общий тон все больше склонялся к осуждению, даже пренебрежению. Дескать, чего от городской залетной и ждать-то? Удивительно, мол, не то, что ушла, а как она до сих пор еще уживалась?

И не в поселок, а в город лыжи навострила!

— Оставила, Леша, тебя невеста с носом! — уже миролюбиво подтрунивала над непривычно молчавшим Четве-

руковым Клавдия. — Теперь у тебя один выбор, как меня сватать, потому у девок ты мужицкий свой авторитет подорвал напрочь.

В это время со стороны лога послышалось тарахтенье автомобильного мотора. Приближающийся этот непривычный звук насторожил всех.

— Что-то гости зачастили к нам. Не с новой ли премией? — в общем молчании съязвила Клавдия.

Из лога вынырнул крытый брезентом грузовик, поюлил вдалеке перед рельсами рабочей дороги, потом вдруг исчез за новой насыпью и, выкатившись из-за нее, неторопливо двинулся к вагончикам.

Он остановился на гравийном пятачке, в нескольких метрах от притихших разъездовцев.

— Здорово, работнички! — высунул лохматую, прикрытую маленькой кепкой-восьмиклинкой голову в распахнувшуюся дверцу шофер, — лопаты-то бы надо на караул поднять! Землячку вам привез! Малость, правда, с дефектом, но главные части вроде бы в порядке! — Спрыгнул он сам из кабины, оказавшись низкорослым, широким в плечах мужчиной. — Принимайте, говорю, землячку! — Он пошел вокруг радиатора к другой дверце, и тут все кинулись к грузовику.

Лидия, опередив всех и оттолкнув шофера, не успевшего отойти от дверцы, вскинула руки к сжавшейся в комочек на сиденье Татьяне:

— Ты чего это удумала, лишенько! — вскричала она в сердцах и, видимо, настолько грозно, что шофер заторопился предупредить:

— Ты, бабочка, не того, слышь, резко ее не тронь. У нее нога повреждена!

— Да как же? — растерялась Лидия.

— А как бывает? — спокойно объяснил шофер. — Подвернула ногу. Шаманиха малость поколдовала, и вот решили в здравпункт в поселок везти. Я из Амзаса возвра-

щаюсь, солярку геологам возил. Ну, а она говорит, что ей какие-то вещи здесь надо забрать, вот и завернули!

— Какие такие вещи? — вытирая ладонью глаза, поинтересовалась Лидия.

Татьяна, уткнувшись подбородком в кофту и, хлюпая носом, молчала.

— Ее, надо думать! — пояснил шофер. — Слышь-ка, а ты, правда, не отмалчивайся, чего нам время терять, — обратился он к своей пассажирке.

— Какие такие вещи! — рассердилась Лидия. — А ну, голубок, заводи! И погоняй-ка! А я с вами в кузове поеду! — неожиданно решила она. — Слышь, Григорий, я путешественницу провожу, — заторопилась Лидия к заднему борту машины, в котором была дверная прорезь.

Шофер, прежде чем самому влезть в кабину, все-таки спросил:

— А с вещами как? Ехали зря, выходит?

— Да что там, браток, — вышел к дверце и Григорий, — ты вези, Лидия верно сказала, если, значит, травма, надо по всем статьям в медпункт. Ты и вези. А мы потом разберемся. Тебе от нашего имени спасибо за помощь, значит. Ну и вези. Что там надо, с Лидией и договоритесь, слышь?

11

Дороги в логу как таковой не было. И потому, круто ухая в колдобины и ямы, грузовик карабкался вверх, а Лидия сидела, ухватившись одной рукой за сиденье, другой — за натяжной ремень над головой.

Когда после очередного нырка машина покатилась уверенней и натужное нытье мотора перешло в ровное гудение, Лидия поняла, что выбрались, наконец, на большую дорогу и вдруг сообразила, что в машину-то она залезла как была: в брезентовой рабочей робе и резиновых бахилах. Но тут же успокоилась: не на праздник поехала и подумала, что ни о чем Татьяну расспросить не успела. Вспомнила, шофер

сказал — ехал из Амзаса. Выходит, что Танька-дуреха до самого Шаманова Камня дотопала, совсем в противоположную сторону от поселка!

Эта догадка ужаснула Лидию. Она представила: сверни Татьяна совсем немного в сторону от Шаманова Камня, где нашли ее буровики, и канула бы без следа в таежной глухомани. За Амзасом иди хоть тысячу километров — человеческого жилья не встретишь, разве что одинокие срубы охотничьих зимовий, куда и самих-то охотников порой доставляют на вертолетах, так они далеко и хитро запрятаны.

Однако еще более расстроилась Лидия, когда ей в голову пришла догадка, что неспроста Татьяна убежала. Видно, беременна! В мутное стекло маленького кабинного окошка она увидела согбенную Татьяну, вздрагивающую на ухабах, и рядом молчаливо спокойную спину шофера. Ей хотелось сказать Татьяне много жалостливых слов, но стекло кабины напрочь отделяло их друг от друга, и слова умирали в сердце Лидии ненужные, невысказанные. Она почему-то увидела себя бредущей по лесу в поисках медсанбата. Старшина Еремин, проводив ее через болото, вернулся на батарею.

Память, оказывается, имеет приметное, не скудеющее хранилище, полное предметов, звуков и цветов. Лидия увидела этот зеленый цвет, что как бы свисал с обрыва в желтую сыпучую яму. Он был на высоте поднятой руки, но поднять ее, перебитую ли, вывихнутую ли в плече, у нее не было сил. Лидия носками сапог сбивала желтое, подминала под ноги. Когда Лидия окончательно пришла в себя, то обнаружила, что лежит под высокой сосной, сквозь хвою которой светит тихое небо. Не было слышно ни взрывов, ни выстрелов.

Зато она вдруг услыхала и всем телом и каждой капелькой сознания короткий, торопливый толчок в своей глубине и догадалась, что потому-то так безоглядно и безбоязненно бродит она по болотам и лесам в поисках деревни Меркуловичи, что идет не одна! А ребенок опять пошевелился и будто бы помог ей подняться, и пошла она

меж стволов и кустарников, пока все-таки не наткнулась на палатки медсанбата.

Впоследствии, когда уже осиротев на всю жизнь, она на лагерных нарах ночами голодной бессоницы все думала, что, заблудись она в лесу, не найди медсанбата, и плена бы миновала, может быть, и свои подобрали бы, ну а если бы умерла, так с дочкой бы вместе! И еще думала о том, что Вася так и не узнал ничего. Она так и подумала: «Вася», ни разу не назвав его отцом, как и себя ни разу не назвала матерью.

Машину сильнее, чем обычно, тряхнуло на колдобине, и Лидия вернулась мыслью к Татьяне.

«Тошно ей, поди, от кидалок-то? До чего же девка скрытная! — И странным образом еще недавний испуг ее принял уже другой оборот: — Нут-ка бы не заплутала, пришла в поселок? И решила бы, как пить дать, решила бы ребенка! — Так, уверяясь в своих обманных предположениях, размышляла Лидия. — Бог с ним, с Лешкой! Вдвоем разве не выходим? В город переедем, с дитем непременно надо в город. Дело молодое, может, кто и найдется для жизни. Так и на здоровье! Татьяна не убогая. С дитем-то и сама она справится. И мы ей не помеха», — рассуждала Лидия уже умиротворенно, без всякого сомнения в своей непременной причастности к дальнейшей Татьяниной жизни.

А между тем автомашина вкатилась уже в колею поселковой улицы и, поурчав на знакомые рытвины, затормозила возле финского домика. Лидия слышала, как растворилась дверь и молодой женский голос спросил:

— Дядя Вася, ты кого привез-то?

Шофер с совсем неуместной шуткой отвечал:

— Нашли мы, Марина, в тайге, возле Шаманова Камня, одну красавицу. Хотели сразу же за доброго буровика сосватать, а у нее ведущая ось треснула, вот тебе на ремонт и доставил.

Лидия, выпрыгнув из кузова, при последних словах шофера подоспела к кабине.

— Не ко времени-то зубоскалишь! Сам людей возить не умеешь! Да меня там в кузове всю по косточкам растрясло, — выговаривая шоферу, Лидия приноравливалась, как бы помочь Татьяне слезть с сидения, не задев толсто укутанную ногу.

— Ну, тебя, бабонька, долго трясти надо, чтобы по косточкам-то, — беззлобно отвечал шофер. — А может, от тряски только уплотнишься. — Он ловко отодвинул плечом Лидию от кабины, осторожно, будто маленького ребенка, взял Татьяну на руки и понес к порогу домика: — Отворяйка, Марина, ворота в свой ремцех!

Половина домика оказалась разгороженной еще надвое. От дверей в белом свете известки и краски, со стеклянными шкафами с блестящими медицинскими инструментами и склянками с лекарствами, с кушеткой, покрытой клеенкой, начинался приемный покой, за ним в приоткрытую дверь никелированной спинкой кровати обозначилась лечебная палата.

Пока шофер усаживал Татьяну на стул, хозяйка медпункта куда-то исчезла, а заявилась уже в белом халате, белой шапочке, из-под которой так весело выглядывали кудряшки, что даже ее строгое требование: — Посторонних прошу удалиться! — прозвучало как-то неубедительно.

Однако шофер сразу повиновался.

— Как себя чувствует больная? — поинтересовалась фельдшерица вроде бы даже с радостью; дескать, и ей наконец нашлось дело.

— Ничего, — хрипло ответила Татьяна. Это было ее первое слово, услышанное в тот день Лидией. И таким жалобным, таким беспомощным прозвучало оно, что Лидия не утерпела и подалась в своих бахилах по скользкому блеску больничного пола к Татьяне. Однако хозяйка, не поворачивая головы, остановила:

— Я, кажется, просила посторонних удалиться?

Татьяна заплакала. Лидия, еле сдерживая слезы, заторопилась успокоить ее:

— Ты не переживай, Танюша. Доктор сейчас тебе поможет, а я на крылечке подожду. Можно, доктор, я на крылечке буду? — Лидия попятилась к двери и прежде, чем закрыть ее за собой, повторила: — Я на крылечке, Танюша, на крылечке!

За порогом она столкнулась с шофером. В руках он держал Татьянину сумку:

— Приданое чуть не забыли. Ну как там?

Лидия недоуменно пожала плечами. Они вместе спустились со ступенек. Шофер закурил.

—Дай-ка и мне, — попросила Лидия, — не переносит моя душа эти медсанбаты.

Шофер пододвинул к ней огороженный ладонями спичечный огонек.

— Тебе, часом, воевать-то не приходилось?

Глубоко затянувшись и выпустив густой клуб дыма, Лидия сказала:

— Вот с тех пор и не люблю!

—А кто их любит? — спросил шофер. — Разве какой сачок? Ну будь здорова, а я попылил!

— Слушай, — вдогонку крикнула Лидия, — ты уж меня извиняй, налаяла давеча на тебя. Вместо того, чтобы спасибо-то сказать...

— Да каво там, пусть поправляется девчонка

Фыркнув, машина попятилась, на развороте шофер приветственно поднял ладонь, и Лидия махнула ему.

12

— Чего это я его ни о чем не спросила, — спохватилась она, глядя вслед медленно раскачивающейся брезентовой крыше кузова.

В это время хлопнула дверь. Лидия обернулась. На пороге объявилась уже другая, пожилая женщина, тоже в халате. Видимо, санитарка.

— Гипс накладывать будем, — торопливо сказала она, — я за водой. Марина Петровна сказала, перелом незначительный, сложен, главное, правильно. Она у нас специалист! Самому начальнику экспедиции, вон какой здоровущий мужик, вчерась зуб вырвала — охнуть не успел!

Женщина убежала в другую половину домика, откуда быстро вернулась с ведром, с которым юркнула в амбулаторную дверь.

Прошел час, а может быть два, когда дверь, наконец, распахнулась и на крыльцо вышла сама Марина Петровна.

Лидия, сидевшая на завалинке, вскочила. Фельдшерица сама подошла к ней.

— Страшного ничего нет, но полежать ей у нас пока придется. Не нравится мне общее состояние больной. Повышенная возбудимость, нервозность. Я ей успокоительное дала. Она спит сейчас. А вы кто ей будете?

— Как вам сказать, — растерялась Лидия, размышлявшая перед этим, как ей завести деликатный разговор с фельдшерицей о Татьянином намерении избавиться от ребенка. В том, что в этом причина Татьяниного побега, у Лидии сомнений не было. Помогла сама Марина Петровна, подсказавшая ответ:

— Мать? Сестра?

— Родственница, дочка, родственница, — заторопилась подтвердить Лидия. — У меня к вам, доктор, разговор есть. — Лидия замялась, подыскивая слова: — Ребеночек у нее должен быть, — не очень уверенно начала она.

Фельдшерица строго перебила ее:

— А сколько месяцев? За направлением в город ехать надо.

— Да нет же, я чего и хочу просить, доктор. Сроки я не знаю, но уговорить бы ее не делать ничего. Я завтра вернусь, сама с ней попробую поговорить, ну, и вы бы чего-нибудь такое... А завтра я непременно вернусь, непременно.

Взволнованность Лидии сняла с фельдшерицы надменность, и она попросту, по-человечески полюбопытствовала:

— Отец-то сбежал, что ли?

— Сбежать не сбежал, а нос, видать, воротит, — вздохнув, призналась Лидия, и фельдшерица ее сочувственно поддержала:

— Это у них запросто, это они могут! Но тут главное, чтобы свидетели, понимаете?

— Так ведь, дочка, не со свидетелем же жить! Ребенку отец нужен. А по суду — какой он отец? Без него вырастим. надо бы ее как-нибудь успокоить, настроить, доченька, а? — все упрашивала Лидия, и фельдшерица кивала головой.

— Пока мы ей витаминов повливаем, первая беременность — это так сложно. Питание у нас обычно из поселковой столовой, а для нее я Филипповну попрошу. А чего, я сама у нее питаюсь. А ей, — кивнула головой через плечо фельдшерица на амбулаторную дверь, — много ли надо! А завтра приходите. Мы с вами вместе... — хотела что-то предложить Марина Петровна, но в это время к домику выскочил парень на мотоцикле и перебил их разговор.

Распрощались они совсем по-дружески.

13

День потихоньку рассвечивался. Вроде бы и не было накануне ни холодного ветра, ни дождя. Переменчивая сибирская осень жалостлива. Перед длинной зимой нет-нет да и одарит солнечным негорячим светлым днем.

Лидия не часто ходила по большой дороге, да и то в разъездовской компании. Одиночная же ходьба всегда особая. Она случается редко и заставляет человека вести раздумья о собственной жизни и судьбе. Лидия себе так все и распланировала: перво-наперво с Лешкой поговорить надо будет. Пустобол парень, но ведь что ты скажешь, сами девки и испортили его. Не виноватого здесь искать надо, а любовь. Если, конечно, она есть. А нет, так чтоб и духу его на разъезде не было. Пока Татьяна в поселке, чтобы и решил все, тиранить девку она, Лидия, не даст!

Но и о Татьяне по-разному думала Лидия. А если она сама к нему не очень, тогда как? Ежели она еще неродившегося уже возненавидела? От мысли такой Лидии стало жарко. А может быть, не от мысли, а просто не учуяла, как сквозь брезентуху солнце припекло? Оно далеко уже за полдень перевалило. В его лучах грели свои зеленые лапы могучие пихты, а белеющие изредка среди них березки иногда, кажется, сами по себе, без ветерка, вздрагивали вдруг с макушки, и тогда отлетал один, другой желтый лист и, медленно кружась, опускался на землю. Но не было в этой потере жалостливого шелеста, потому что не потеря это была, а расставание перед новой неведомой жизнью, которую приносят вешние токи березовым почкам. И не было в душе Лидии ни на кого досады и обиды.

Охваченная предчувствием радостной обузы, будто приготовленной ей ни о чем не помышляющей Татьяной, она предвидела по-новому теперь уже навсегда, наконец, устроенную свою жизнь в сплетении со слабенькой Танюшкиной веточкой, которой всегда будет приходиться опорой.

Лидия сняла брезентовую куртку, перекинула ее через плечо, глянула вперед и удивилась: уже четко виднелись круто изогнутые из одного корня растущие пять березовых стволов, возле которых обыкновенно отдыхали, прежде чем свернуть к разъездовскому логу.

Шум автомобильного мотора заставил Лидию остановиться и обернуться с удивлением. В кабине притормозившего грузовика увидела она шофера, привезшего Таню. Не менее Лидии удивился и он сам, узнав в попутчице утреннюю пассажирку.

— Здорово опять будешь! — высунулся он из кабины. — Ты однако в сорочке родилась! По неделям, бывает, ездишь, — и никого! А тут одного человека второй раз за день! Ну садись, раз повстречались.

Машина тронулась. По шоферской привычке глядя вперед и изредка оборачиваясь к Лидии, шофер разговорился:

— Я ехать-то не должен был. Митрохина очередь. А он

с завгаром «вась-вась», я же безотказный. У одного дети, у того — жена. А я сам себе хозяин. Вот и посылают: «Давай, Терентьев!»

Лидия, углубленная в свои размышления, сочувственно поддакнула:

— Кто везет, на того и подваливают!

— Да конь у меня крепкий, ухоженный, — с улыбкой похлопал по рулевому колесу Василий. — Раненая наша как там?

— Фельдшерица сказала, будто все обойдется. А кто знает! — вздохнула Лидия.

— Марина у нас молодец, не волнуйся, мертвого на ноги поставит. А она-то тебе кто? Девчушка эта?

— Да как тебе сказать... — очень уж хотелось Лидии поделиться с кем-нибудь своими думами, но шофер, взглянув на нее и сразу же отвернувшись, вдруг сказал с усмешкой:

— Будто бы мы теперь с тобой и знакомцы, а знать-величать не знаю как!

— А чего величать-то, — отозвалась Лидия, — опять, может, вовек и не встретишься!

— А, может, наоборот? Может, посватаюсь!

— Куда... — усмехнулась Лидия, — я вот скоро уж бабушкой, видать, стану!

— Выходит, дочка? — уяснил для себя шофер.

— А считай, что так! — весело подтвердила Лидия, радуясь тому, что неожиданно легко и ясно определилась ее роль.

— Вдвоем, что ли живете? — крутя баранку, продолжал расспрос шофер.

— Вдвоем, — согласилась Лидия и отчего-то добавила: — Теперь вот в город будем перебираться. У нас там управление. С дитем-то в вагончике несподручно будет, а в городе-то квартиру выхлопочем, хоть и комнату в общежитии. У нас там общежитие есть. Может, знаешь клуб?

Ну, деревянный такой, за новыми домами, рядом с ними бараки-то? Ну там и общага наша. А еще в прошлом году я в отпуске в городе была, подруга там у нас же в управлении работает, так говорит, кирпичный дом строят. Ты в городе-то бывал?

— Да, считай, каждый месяц гоняю, — подтвердил Василий. — У нас, правда, база в Кузнецке, а в городе — то на склад, то на стройку, а то и ребят, которые на отгуле, как бы на экскурсию. Все ж город.

— Оно, конечно, — согласно подтвердила Лидия и, увидев приметные кусты, добавила, — ну вот и наш сверток, так что тормози и благодарствуй за подвоз-то. Пехом я бы где еще была...

— Да ладно уж, сиди, — неожиданно раздобрился шофер, — подброшу я тебя в ваши тар-тарары!

— Вот уж и совсем спасибочки! — обрадовалась Лидия.

Машина, уркнув мотором, нырнула с дороги под уклон.

— Все же, может, имя-то скажешь? — выводя машину на взгорок, напомнил шофер.

— Зовут меня Лидия, по фамилии Забелина, — представилась Лидия. — Будете в наших краях — милости просим! Гостей мы любим, да у нас на разъезде они редко бывают!

— Скажи, пожалуйста, — вроде бы удивился он.

А Лидия простодушно пояснила:

— Ну сам посуди: откуда им, гостям, взяться, да и зачем они к нам-то?

— Да я не об этом, — пояснил Василий и неожиданно вспомнив их разговор около поселковой больницы, спросил:

— А ты и в самом деле на фронте была?

— Врать-то мне что за корысть?

Машина, обогнув насыпь, вырулила на пятачок перед вагончиками. Вокруг было тихо и пусто. Бригадники все на работе. На гул мотора выглянули из ограды Григорьевы дочки. Люська с Веркой, увидев Лидию, подбежали к ней:

— Тетя Лида, тетя Лида, а Таня где?

— Таню в больнице оставили, как только выздоровеет, так и приедет, да еще и гостинцев привезет! — объявила девчонкам Лидия и спросила шофера: —Может, хоть чайку зайдешь выпьешь? У нас вода родниковая, а чай с медом, бригадир Григорий нас угощает медом, зайдешь?

— А чего ж не зайти, — рассудил шофер, — я сегодня вроде бы по-настоящему и не обедал.

Они поднялись по ступенькам в дверцу вагончика.

— Направо проходи, — из-за спины шофера подсказала Лидия. — Это наши с Татьяной хоромы. Садись там прямо на кровать, а я печку затоплю, это у нас мигом.

В узеньком коридорчике вдвоем повернуться было негде, и Василий шагнул в комнату, остановился в тесном проходе между двух коек. Он еще повел взглядом, не решаясь садиться, все ж таки был он в рабочей одежде, как взор его уперся в портрет молодой девушки, висевший над одной из кроватей. Она не походила ни на Татьяну, ни на Лидию, она была похожа... Василий вдруг резко шагнул к фотографии и громко вскричал:

— Лидия!

Было в его голосе что-то такое, что испуганно дернуло хозяйку от печки к нему.

— Ты чего?

— Это кто такая? — стоя вполоборота, показал пальцем в сторону портрета Василий. — Кто такая? — нетерпеливо повторил он, а Лидия, удивленно взглянув на гостя, вдруг заметила напряженную бледность его лица.

— Чего испугался-то? Кого-нибудь напоминает, что ли? — усмехнулась Лидия. — Она и мне-то уж давно чужой кажется. Да это я. Еще из довоенной жизни. Вот была и нету, как вроде и той самой жизни... Была и нету...

— Лидия! — Василий неожиданно так цепко схватил ее за руки, что та вскрикнула сердито:

— Да ты чего, браток, ошалел, что ли?

— Лида? — уже почти шепотом вырвалось у Василия,

и он, отпустив ее руки, почти упал на угол кровати. — Лида, ты знала когда-нибудь старшину Еремина?

— Что? — уже сама испуганно переспросила Лидия, — Еремина? — Она видела, как усталое, пыльное, в морщинах лицо ее гостя заливалось краской, а глаза впились в нее тревожно и пристально.

У нее похолодели враз руки и ноги, и она как стояла в дверях, так и опустилась на пол, и уже снизу вверх вглядывалась в его незнакомое лицо, желая найти и не находя в нем ни одной знакомой черты.

— Я старшину Еремина после войны на Волгострое встречала, — наконец выговорила Лидия и вдруг неожиданно для себя спросила: — Вася?

Он медленно, очень медленно, даже боязливо, будто бы преодолевая тяжесть всех прожитых лет, кивнул головой. В глазах его стояли слезы.

Нет, не может быть, чтобы это был он, ее лейтенант, который военной осенней ночью сорок третьего года приказал вывести ее в медсанбат из боя под Меркуловичами.

— Лида! Лида! — теперь уже пробовал самого себя убедить и Василий, — Лида... — прошептал он.

Она как будто очнулась. Да, это он!

— Теперь бы и умереть хорошо. С радости такой и умереть хорошо! — прошептала Лидия, улыбаясь и прижимая руки к горлу.

— Что ты такое говоришь? — тоже шепотом, испуганно вскричал, осторожно прикоснувшись ладонью к ее руке, Василий. — Что ты такое говоришь?

Лидия почувствовала, как дрожат его пальцы, и осторожно, подняв руку, накрыла ею руку Василия.

Так стояли они глаза в глаза и молчали.

— Откуда же ты взялся? — вся в слезах допытывалась она у Василия, — как же это так? Откуда ты взялся?

— Да вот с дороги... — не нашел что сказать бывший старший лейтенант. Хотя в самом большом он был точен. С тех пор, как они расстались, вся жизнь его была связана

с дорогой. Но он еще и добавил: — Когда нас с передовой отвели, из-под Меркуловичей, я узнал, что госпиталь, в который Еремин тебя отвел, захватили немцы.

Лидия молча закатала рукав кофты.

Увидев синевшие на коже цифры, Василий, понял все, так же молча накрыл их ладонью...

...— Это сколько же лет я мимо тебя-то здесь ездил? — держа теперь Лидины ладони в своей широкой жмени, вдруг с горечью задался вопросом Василий.

«А ведь мог так и проездить всю жизнь», — вздрогнула от такой мысли Лидия, а вслух опять сказала:

— Я, Вася, перед тем, как в Сибирь завербоваться, еще с одним жила...

Он не дослушал, перебил:

— А с Татьяниным отцом у вас как? — и сам понял, и Лидия почувствовала, что о главном спрашивает.

«Господи, не убеги Танька к Шаманову Камню, не повреди ногу, вовек бы мне Василия и не увидеть!» — думала Лидия, и от невыносимой тягости этой мысли уронила голову на руки Василию.

А он ждал ответа. Ждал и боялся его.

И не вспомнил никто из них, что уже сиживали они так однажды ночью в их окопной военной жизни.

— Что ж ты молчишь, Лидия? Уж как есть говори...

А она подняла голову и впервые вдруг улыбнулась:

— Да не дочь она мне, так, товарка по комнате, ты на ее койке-то сидишь, но с дитем я ее не брошу, ни в жизнь не брошу, — твердо повторила Лидия, — она мне теперь вроде родной дочери. — И Лидия заплакала, сквозь слезы думая, что не скажет, как бы там у них ни пошла жизнь, никогда не скажет Василию о их неродившемся ребенке.

А он, конечно, не мог знать причины этих слез. И по-другому, по-душевному рассудил:

— Так и чего же бросать-то, да мы... — но просунувшаяся в дверь Люська не дала ему договорить:

— Тетя Лида, мамка велела вам с дядей идти обедать!

РАССКАЗЫ



ПОДАРОК

1

Балашовы сидели за чаем в садовом домике — отдыхали. Грядка для огурцов была готова: назем привезли издалека, лунки засыпали черноземом, а для верности старательный хозяин натянул над грядкой полиэтилен. Было начало мая, и погода менялась — к вечеру резко похолодало. Весело потрескивала печурка, вкусно пахло свежим чаем и колбасой. Людмила вдруг спохватилась:

— А на кого мы сад-то оставим, Саша?

Балашов, любуясь в распахнутую дверь аккуратно сделанной грядкой, не сразу понял ее вопрос.

— Как «оставим»?

— А в отпуск-то? Я ведь Шуре написала, что приедем в июле, а сад? Кто за ним глядеть, кто поливать будет?

Они оба даже растерялись.

— Да... — только и сказал Балашов. Он поставил кружку с недопитым чаем и вышел на крылечко — маленькое, в три ступеньки, сел на верхнюю.

Людмила молча стояла в проеме двери. Синева весеннего вечера пахнула неприветливостью стужи. Пробежал ветерок, Балашов поежился.

На шахте, где Балашов работал горным мастером, давно уж и повально всех опутала садовая забота.

Сначала занялись картошкой: корчевали тайгу поближе к городу и без картошки никто не зимовал. А потом взялись за огороды и сады: с овощами в молодом шахтерском городе было туго: даже луком не снабжал овощеторг. Шахтеры — народ состоятельный, гаражи строили с погребами,

а в погребах-то хранили картошку да грибы соленые. Грибов вокруг тьма! Но грибы-то грибами, а ведь и огурчиком своего посола охота похрустеть. Вот тут и началась садоводческая эпопея.

Садовые домики строили в охотку, добротно и уютно. И огороды возделывать стали один другого богаче да урожайней. Видно, тянет человека эта земная тайна, душу притягивает. Может, в каждом, как в зернышке стебель, живет изначальная землепашеская радость? А шахтеру тем более, поработав под землей, хочется и на земле что-то сделать.

Однако Балашовы долго сторонились садоводчества. Александр охотничал, Людмила вязаньем увлекалась. Всю семью обвязывала: и платья, и костюмчики, и мужу пуловеры; отпуска только на юге проводили.

А осенью уезжал сосед — механик с участка, на котором работал Александр, он и соблазнил Балашовых своим садом.

— Жалко в чужие руки красоту такую отдавать, — сокрушался сосед, — купи, Александр, лишнего с тебя не возьму, по-соседски, по-дружески; не пожалеешь! Да и поверь, как там время-то светло проходит. Что ни день, то ягодка новая, что ни ягодка, то праздник. А птицы-то поют! Мы их тут в камнях-то городских и слышать позабыли, а там как заливаются!

Ну и соблазнился Балашов, и Людмила не противилась, так с урожаем и купили. Частенько зимой добрым словом поминали бывшего соседа. А про отпуск-то совсем из виду упустили! В самом деле, не оставишь же на лето сад без присмотра! Поливать, полоть, ухаживать надо!

Балашов закурил папиросу, так ни слова еще и не произнеся, потом объявил жене:

— Поезжайте вдвоем с Иринкой. Отгуляю потом, а вы поезжайте, управлюсь с садом и один.

Балашов сам отвез жену и дочь в Кемерово — в аэропорт. Погода сначала хлипкая и холодная установилась, но

лето брало свое. Зелень чуть ли не на глазах полезла из земли, а еще через неделю все уже настолько насытилось летним жаром, что Балашов ходил по саду босиком, обливался из самодельного душа, а потом стал ночевать в саду. Спал у раскрытого настежь окна, вдыхая запахи проснувшейся земли и цветущих яблонь. Он заметил, что не скучал о жене и дочери и даже на работе иногда вспоминал о недоделках в саду. Дома его теперь застать было невозможно. Он хорошо загорел и так втянулся в садово-огородную заботу, что даже стал помогать старушке-соседке. Петровна почти безвыездно жила в садовом домике на участке, дочка с зятем, по ее словам, были очень занятыми людьми, так что летом и за ягодой-то не всегда могли в сад выбраться. «Я им в бидончике и вожу ягодку! А то за делами и ягодки свежей не покушают!» — рассказывала словоохотливая старушка Балашову, когда он накачивал ей в бочку воду для полива.

Дочку Петровны и зятя он так и не видел и в душе возмущался эгоистическим бессердечием молодых хозяев сада. Наступил отпуск, и Балашов тоже переселился в свой теремок. Он как бы взял шефство над Петровной, возил ей из города продукты, а она вызвалась полоть ему грядки.

2

Может быть, прожил бы Балашов так весь месяц, если б однажды вернувшаяся с юга жена не привезла ему письмо от младшего брата, приглашавшего в гости. Балашов вспомнил, что и брата и живущую в Тополинске мать он уж года два не видел. Вспомнил, что у Федора день рождения, о чем он скромно не напоминал в письме. Людмила сама предложила мужу поехать на недельку к своим в Тополинск. Сад оставался на нее.

Людмила, собирая мужа в дорогу, указала на небольшой сверток: «Это матери подарок... платок. Неяркий, но очень такой приятный. Мне, например, понравился...»

Поздно ночью остановил Балашов свою машину у подъезда большого кооперативного дома, в котором жил Федор. Федор работал в ночную, последнюю смену перед отпуском. Он заявился рано утром, растолкал спящего на диване брата, они шумно обнялись.

Федор приказал жене накрывать стол по-праздничному, потому что все равно уже начался его день рождения, потому что приехал братан. И еще заставил жену «ни свет ни заря», как весело ворчала Светлана, одеться в праздничное платье, потребовав и себе праздничную рубаху.

Детей в доме не было: старший сын служил в армии, младший отдыхал в пионерском лагере, недавно построенном шахтой.

Балашов раздал подарки: Федору набор блесен и пакетик с тончайшей японской леской, приобретенной им еще в прошлом отпуске по случаю; Светлане коробку импортной парфюмерии — Людмила с дочерью за этими коробками, рассказывали, простояли в очереди чуть ли не целый день, младшему племяннику Балашов привез электрический луноход.

— Ну, это ему на полчаса, — сказала Светлана, надивившись умной машине: сама отворачивала и обходила препятствия, — и упрятала ее в коробку. — Он теперь у нас все разбирает и конструирует. Перед отъездом транзисторный приемник — отцу на шахте премию дали — разобрал. Робота какого-то все строит!

На столе остался сверток с платком для матери. Балашов так и сказал: — «Это матери: платок Людмила купила. Как она тут?»

— А чего ей сделается? Мать у нас жилистая, — рассматривая флакончики из подаренной ей коробки, весело заметила Светлана. — Без дела не сидит, еще и нас подгоняет. Сейчас вон на мичуринском живет: полет, поливает, ягоду сторожит. Я Федора, когда покупали сад, сразу предупредила: в поливальщики и не подумаю! Если обрабатывать землю, значит, вместе. Одной мне—гори она, эта яго-

да! А свекровка-то: «Нет, — говорит, — вам нынче ничего не жалко!»

— Как это «на мичуринском живет»?! — опешил Александр. — Одна?

— Ты, братка, не в курсе, письмами мы не шибко меняемся, — Федор — широкий в плечах, ростом чуть пониже Александра, держал в руках коричневую, с белым узеньким воротничком трикотажную рубаху, — мы по весне материну избу продали, корову-то еще по зиме порешили, сена на нее не напасешься, да и матери управляться уж тяжело стало. А избу, значит, по весне продали, мать к нам переехала. Гришка, ты знаешь, в армии, она на его кровати и спит. — Федор кивнул в сторону открытой двери в комнату. — Ну, избу продали, а мичуринский купили. Скудно без своего соленья, варенья. А в садах бичье шастает, особенно первую ягоду, а она пять рублей килограмм! Вот мать у нас и сторожит. Да она не одна там, я позавчера ездил, там их, пенсионеров, целый колхоз. А что? Воздух свежий, лучок, ягода! Многие-то сами в город и за хлебом ездят, с автобусами туда, правда, плохо, а мы своей еды всякой привезем, и живи, как на курорте! Мне бы такую жизнь — с удовольствием!

— Так ей же семьдесят пять, Федор! — возмутился Александр, — я себе представляю, сколько такое «удовольствие» сил требует!

— А что же ты, Саша, — ласково спросила Светлана, — по сей день про семьдесят пять-то лет не вспоминал, мать к себе бы и забрал, если ты такой жалостливый. Все ж таки старший-то ты!

— Светка! — строго прикрикнул на жену Федор. — Ты мужика кормить собираешься?

Светлана резко повернулась и, стуча сабо, пошла в кухню.

— А ты, братка, не обращай на нее внимания.

Заметив, что Александр вынул из кармана папиросную пачку, Федор потянул его за рукав:

— Пойдем на балкон, Светка дыма не переносит.

Они вышли в прохладную свежесть начинавшегося летнего дня. Закурили. Слова невестки словно бы обожгли Александра. Ему вдруг стало стыдно за беспомощность, за бессилие. Отводя взгляд от лица младшего брата, боясь еще и в его глазах увидеть осуждение, а хуже всего — снисходительность сочувствия, Александр стал разглядывать двор.

Внизу было пусто. Даже дворники еще не начинали свою работу. Вдалеке, в проеме между крышами домов, виднелась макушка горы, густо заросшая тополями.

— Федор, это не старый ли первогорный терриkон так-то глядится? — показал пальцем Александр. В той же стороне, где-то на косогоре, с боярышниковым кустом у калитки стояла и их изба.

— Он! Теперь его с боков-то бульдозерами обкромсали и сейчас прямую дорогу там заасфальтировали. Красота! Грязи никогда не бывает, и до шахты в два раза быстрее добираешься! У нас на шахте сейчас хоть глаза завязывай и беги! Техники — черт ногу сломит! А ума ей дать некому. А план давать надо! Надо, — Федор обрадовался перемене разговора и стал говорить о своем, наболевшем. Однако Александр не поддержал его, а спросил:

— Как за углем на терриkоник в войну лазили — забыл?

— Чего забыл, — усмехнулся Федор, — даже американские штаны помню!

— Да ты же совсем тогда сопляк был! — удивился Александр, обрадованно втягиваясь в новый разговор.

— Помню, — утверждал Федор, — как их спалили, и как мамка тебя выдрала за то!

— Не драла она. Она всегда больше пугала! — Александр все с большей охотой втягивался в подробности, будто бы отгораживаясь воспоминанием от сегодняшних забот. Федор тоже поддержал брата:

— Это верно, — согласился он, — но в тот раз все ж тебе попало!

— А все из-за тебя, мне всегда из-за тебя доставалось, — без злобы напомнил Александр.

— Ну дак на то ты и старшой! — парировал Федор. — Только откуда эти «американские» штаны взялись, не помню.

— Вроде бы их мать из импортной какой-то тряпки сшила, — высказал предположение Александр. — А точно тоже не знаю. Лет-то сколько прошло! Весной сорок третьего или сорок четвертого было...

— Год не помню, а что весной — это точно, — подтвердил Федор.

3

...Военные весны для тополинских мальчишек по-настоящему начинались с того времени, когда огородные грязи подсыхали до того, что по ним можно было ходить в поисках мороженой картошки, из которой матери пекли оладьи по прозванию «тошнотики». Сашке Балашову всегда везло. Он смастерил особую копалку и с ее помощью за час-другой выкапывал по полведра, а то и по полному хлипковатых мягких картофелин.

В длинные вечера вольготно было пацанам топтаться на выгоне за избами, играть в «догоняшки», вышибать битами «городки». Одно было не очень удобно в эти все удлиняющиеся вечера: ужинали по-прежнему после того, как взрослые управлялись с делами, а дел у них все прибавлялось, ужин, следовательно, все оттягивался и оттягивался... Маленькие, вроде Федьки, не выдерживали и загодя сбегали с игрищ, отираясь в томительном ожидании возле взрослых.

Сашка должен был уже выбивать самую сложную городошную фигуру — «запечатанное письмо», когда услышал крик брата. Федька бежал, запинаясь, в старых больших Сашкиных ботинках и от самого переулка кричал:

— Санька, иди скорей, исть будем, мамка пришла!

Судя по тому, как ясно проглядывались контуры горо-

дошной фигуры, матери еще не должно быть дома. Она работала уборщицей в школе и классы мыла после второй смены.

— Санька, — Федька задыхался не от бега, а от нетерпения: — мамка карточки отоварила! Бабушка говорит: тошнотики с мака́ньем будут! Целую поллитру масла мамка принесла!

Рецепт приготовления тошнотиков был прост. Картошку протирали на терке, бросали в нее соли, и эта масса порциями выливалась на сковородку или даже прямо на плиту, откуда коричнево-поджаристые оладьи и поступали на стол. Ели их, запивая морковным чаем. А уж с «маканьем» — это редкая была еда!

Сашка все-таки кинул биту в «письмо», «размочил», но добивать не стал, а побежал домой.

Скинув чуни у порога и бросив в угол стежонки, мальчишки полезли на сундук, их постоянное место за столом. Мать уже сидела в углу под часами, а бабушка подавала на стол. Картошка в чугунке приостыла, ее можно было брать не обжигая рук. Перед ребятами бабушка положила по куску соленой рыбы, при виде которой у Сашки рот сразу наполнился слюной. А Федька шептал:

— А что-то еще будет, я знаю! — и не утерпев, спросил заговорщицки у матери: — Мамка, а сказать Сашке, чо еще у нас есть?

— Ешь, постреленок, — засмеялась от печки бабушка,— есть, да не про вашу честь. — Она поставила рядом с чугунком чашку с тошнотиками и рядом с ней — блюдце со светло-желтой жидкостью. Это было растительное масло, то самое, редкое в балашовском доме маканье, о котором с таким восторгом говорил Федька.

Ребячьи руки, успевшие уже подернуться цыпками, быстро мелькали от чашки с тошнотиками к блюдцу с маслом — и вот уже нет тошнотика, будто и не было. Но когда бабушка высыпала на столешницу перед каждым из них по полной деревянной ложке золотистого песку, и маленьк-

кие сыпучие бугорки заблестели под тусклым огнем висевшей над столом электрической лампочки, Федька не удержался, лизнул сахар и объявил:

— Такого сладкого сахара я еще никогда не пробовал!

В это время погас свет. Бабушка, только севшая было на свою табуретку, заохала, вставая,—она садилась и вставала всегда охая, — зажгла коптилку, та все время была наготове, и праздничный ужин Балашовых продолжался.

Они уже пили чай, заваренный сухой морковкой, когда услышали, как лает Жучок, а потом в сенях кто-то зашаркал, и в избу вкатилась соседка Степаниха.

— Это чем же так вкусно у вас отдает, аж в сенях по носу шибает?!

— А мамка карточки отоварила, у нас тошнотики с маканьем! — объявил Федька.

— Садись с нами, Лукерья! — пригласила бабушка, — Чайку попьем!

— А что, от чая-то, поди, вреда не будет! Я нынче что-то все пью. То ли с жирного варева, то ли с рыбы... — Степаниха распустила платок, скинула его на плечи, а стежонку не сняла, села на бабушкино место. — А чем, Даша, отоварилась-то?

— А тоже селедку давали, сахар...

— А мамке еще и подарок дали американский!

Тут бабушка уже состроилась на Федьку:

— Цыц ты, постреленок!

— Какой такой подарок, Даш? Чего не похвалишься?

— Американские подарки в школе сегодня делили. Мне платье вырешили. — Мать повернулась к кровати (табуретка, на которой она сидела, едва втискивалась между столом и кроватью), взяла с нее сверток. Развернула. Язычок коптильного огонька вздрогнул, зашатался, пригибаясь в разные стороны, потом выровнялся. Степаниха встала, раскинула платье. Оно было длинное, непонятного темного цвета, и в неровном свете коптилки горело множеством блесток.

— Ну ты! Прямь ведь барское, Даша! — Степаниха встряхнула платье, и коптилка снова замигала. — Ты в нем на какое такое гулянье ходить будешь? В нем аккурат сподручно полы мыть... — захохотала Степаниха. — Вот же, паразиты, какие носят. Ну с таким подолом к свиньям в стайку попробуй-ка заявись. А глянь, глянь... — она приложила платье к себе — у них же и титьки, выходит, наголе!

Ребята фыркнули.

— Будет тебе, Лукерья, — урезонила бабушка соседку.

— Нет, ты чего, погляди... — не унималась та, — ну аккурат же наголе. А что, Даша, давай меняться, а? Я тебе за него те самые два мешка — этим оторвягам на штаны дам. Ну на чо оно тебе? А им из тех мешков сошьешь штаны, так же сносу не будет! И опять же вроде американского подарка! — захохотала она. — Мешки-то из под американской муки! Давай меняться!

— Чего менять, — недовольно заметила бабушка, — у ей самой юбка лицованая восемь раз да в шестнадцать латаная. У мальцов, чай, зад не сверкает. На тебя же оно и не влезет, тебе самой из мешков-то и шить!

— А ты, Петровна, чего раскудахталась? — беззлобно оборвала бабушку соседка. — Я же не отымаю. Ты свой шесток знай. С Дарьей я говорю. Сама приходила: я тебе картошку посажу, а ты мне мешки на штаны! А что они у меня лишние, что ли, тоже поди казенные. На свой риск, можно сказать, иду! Ну да ладно, засиделась у вас. Спасибо за чай. Чай-то все пью седни и пью. — С этими словами соседка поднялась из-за стола. Пламя коптилки опять закачалось из стороны в сторону. По стенке запрыгали огромные тени. — Ну, хорошо вам ночевать! — попрощалась соседка.

Дня через три, поздно вечером, когда бабушка уже развешивала над печкой мальчишечью одежонку, а они на том же сундуке гоняли самодельную юлу, мать вернулась с работы с большим свертком.

— Сменила? — догадалась бабушка.

— Так ведь поизносились они, — виновато сказала мать. — Уж и заплатки не к чему пришивать. А мне что, куда я в ем-то? На работу не пойдешь, а в огороде и в своих обносках хорошо. Да и пусть это им вроде подарка будет к Первомаю!

— Господь тебе помоги, Дарья, — перекрестилась бабушка. Мешковина была белая, тонкая, крепкая, в уголке сине-красная печатка — звездочки с полосками.

— А чо это такое? — спросил Федька.

— Это флаг американский, — объяснил Сашка. — Нам в школе рассказывали.

Штаны после того, как мать их покрасила, получились что надо, и только флаг цветастой заплаткой высвечивал на самом заду, отчего несколько портилось ощущение новизны штанов. В самом деле, что за обновка с заплатой?

На улице, когда братья Балашовы появились в обновках, сметливые пацаны сразу определили: «Меченые» — так это прозвище и прилепилось к ним.

Узкая логовина, по которой текла маловодная речушка, разделяла две «горы», на которых избился Тополинск. На одной, в неровных рядах от самого приречья до круглых вершин выстроились улицы засыпушек и рубленых изб, на другой — терриконными насыпями громоздилась шахта, гудком которой размерялась вся тополинская жизнь. В логу и было то, что громко именовалось городом: магазины, поликлиника, почта, пять двухэтажных каменных домов, кинотеатр замысловатой башенно-стеклянной архитектуры, к концу войны заколоченный досками, да улица «стандартов» — двухэтажных штукатуренных деревянных домов. Но главной достопримечательностью города был настоящий парк с каруселями, комнатами смеха, танцплощадкой, летним театром. Парк — кусочек настоящего леса, не вырубленного строителями то ли по недогляду, то ли в спешке. Но как бы то ни было, тополинцы любили свой парк, а уж детворе и вовсе было здесь раздолье.

Оттуда, из парка, провожали первые команды тополинцев на фронт. Провожали весело, с песнями, шумно.

— Чтобы к зиме непременно возвратились с победой!

— Если смерти, то мгновенной! Если раны — небольшой!

Отец Балашовых уходил на вокзал с футбольного поля городского парка. А к середине войны парк засыпали породой, на его месте и поднялся тот самый терриkон.

У подножья породной горы, из речушки, обтекавшей парк, образовалась на радость мальчишкам запруда, в которой они и плескались целое лето, а пока были целы остатки парковой ограды, мастерили себе из досок плоты.

Работы в огородах еще не начинались, а пригляду за пацанами в Тополинске никогда особого не было: «Куда им деться? На речку да за колбой в тайгу, а к вечеру все одно придут!» И после школы собирались они на запруде и устраивали баталии на самодельных плотах.

У Сашкиных друзей с Партизанской ни у кого не было братьев такого возраста, как Федька, поэтому он и нянькался с ним, то есть таскал Федьку за собой, а точнее сказать, тот ни на шаг не отставал от старшего.

Погода стояла светлая, солнечная. Уже тропинки в весенней жиже не только протоптались, а обсохли, затвердели. Уже Герка Давыдов выжигал лупой свои инициалы на рукоятке самостроганой сабли, когда назначили «генеральный бой» на запруде с пацанами с Красной горки. Почему-то красногорцы не явились к назначенному часу, и «партизанцы», чтобы время не пропадало, вывели свои плоты на воду. У Сашки с Геркой на двух бревнах сверху были прибиты, кроме плах, еще несколько чурок, что-то вроде капитанского мостика. Вот на одну из них и посадили они зареванного Федьку, долгими слезами вымолившего себе небывалую привилегию поплавать с братом.

Он сидел счастливый и радостный, наблюдая, как брат отталкивался шестом, в то время как Герка расстреливал камнями воображаемого противника. Плот победоносно уже несколько раз проплыл запруду вдоль и поперек. Оста-

валось только одно мелководное место в зарослях ивняка, куда и направил «капитан» свое судно. Обычно туда плавали на легких, из двух досок плотах, но и этот «крейсер», как ни странно, медленно пробирался между кустов и уже почти достиг заваленного валунами берега, когда сильный толчок остановил движение, и тотчас раздался Федькин крик.

Сашка оглянулся — брат барахтался в воде.

— Вставай, Федька, — крикнул он ревущему брату. Когда мальчишка поднялся, вода ему оказалась чуть выше колен.

— Ты Федьку к огням тащи! — подсказал Давыдов, — да приходи плот снимать с мели.

Невыбранный из породы уголь самовоспламенялся, и террикон представлял из себя некое подобие вулкана, светящегося по ночам голубыми огнями.

Пока Федька вылазил на берег, Сашка уже припрыгал по камням.

— Скидывай одежонку, — приказал Сашка.

Хоть день был и солнечный, но у Федьки зуб на зуб не попадал. Сашка надел на брата свою одежонку и, посадив его себе на спину, полез с ним вверх по терриконе туда, где тонко струился и дрожал воздух над камнями. Он примостил Федьку на большой валун, укутав стежонкой вместе с ногами, благо все стежонки были одного размера — на большого мужика. Раскидал верхние камни, пока не показались красные пятна раскаленных углей, и вокруг разложил Федькины шмотки: рубашку, штаны, а стежонку расстелил поодаль на теплых камнях.

— Сиди тут и гляди, чтоб не сгорело! — наказал брату, а сам побежал помогать Давыдову.

Но, как ни бились, не смогли сдвинуть разбухшие бревна с мелководья, пока снова не закричал Федька:

— Санька, пожар!

Когда ребята взобрались к Федьке по валунам, то увидели чуть не наполовину сгоревшие новые Федькины штаны.

Мальчишка стащил их с горячих камней, и они еще дымились возле его ног.

— Выдерет мамка тебя, Сашка! — со знанием дела, спокойно объявил Федька старшему брату. — Как сидорову козу.

— И все из-за тебя, паразита! Вот сейчас по шее наклюю, — замахнулся Сашка, но не ударил — он меньшого никогда не бил, разве что пинка легко поддаст, когда тот уж совсем под ногами замешкается. — Что вот теперь, делать-то, как дома показываться?

— Пошли к нам! — предложил Герка. — Может, мамка их залатает?

Хмурые, голодные, но на что-то надеясь, объявились братья в соседском доме.

— Идолы, как есть идолы! — увидев их, запричитала Геркина мать. — Совесть у вас где, мучители! Носит вас по породам! Мать надрывается, а они, поджигатели! Идите хоть лапы-то чугунные свои сполосните да садитесь за стол! А тебе, Герка, погоди, отец придет, по первое число отсчитает!

Так, ворча и причитая, она накормила их картошкой, еще и по сухарику к чаю дала. От такой радости Сашка с Федькой и думать забыли о том, что их ждет дома, а залезли вместе с Генкой на полати и там в темном тепле замечтались. Они не заметили, как тетя Тася, Геркина мать, куда-то уходила. Пришли они в себя, только услыхав голос матери.

— Ну-ка, гулены, кончайте гостевать, айдате с полатей, — скомандовала мать, а когда увидала своих сыновей, запричитала в голос: — И где же я вам одежу напасу, ироды! Силов моих нету! — она взмахнула хворостиной, которую держала в руках. И хоть та совсем не попала по Сашке, он заревел так, что перепугал во дворе собаку, и бросился из избы. Там, немного пробежав по переулку, он свернул за чью-то избу. Туда же вслед за ним прибежал и Федька.

— Больно? — спросил он брата.

— Не, — признался тот, — она по мне не попала.

— Мамка никогда не попадает, — сообщил свои наблюдения Федька и заплакал.

— А ты чего ревешь? — спросил старший брат.

— Мамку жалко.

— И мне жалко, — признался Сашка, — только штаны-то все равно сгорели.

Все-таки домой ребята возвращались со страхом. Но мать не ругалась. Как будто бы ничего и не случилось. Она сидела в углу на сундуке, возле самой коптилки и что-то шила.

Бабушка, ворча, выставила на стол чугунок с картошкой. И тут мать, подняв голову от шитья, сказала:

— Отдашь, Сашка, брату свои штаны, а тебе вот, последние отцовские переделаю. Все ж ты у нас в доме старшой!

— А то не старшой, — вступилась бабушка, — он мне утресь вон сколь дров-то наколол. Да на породу с ем на тележке вчера за углем ездили. А то не старшой...

4

Федор, облокотившись на перила, выпустив густо дым изо рта, глядя, как брат, на старый терриконик, неожиданно сказал:

— Что до мичуринского, так ей-богу, это же мать сама придумала! Приду с работы, а она в своей комнате сидит да все молчит. Ну, а когда сад купили, Светка и говорит: «Поговори с матерью, может, она там поживет, покараулит?» Ну, я спросил: «Может, там, на воздухе, не так будешь скучать?» «Вези, — говорит, — в сад!» Избушка там рубленая, с печкой. И уголь, и дрова — все под рукой. Да мы там через день, считай бываем! Ты, братка, не думай чего!

Александр, слушая брата, все как бы проигрывал и проигрывал на внутреннем слухе слова его жены: «Все ж таки старший ты!» Повторяясь, они как бы возвышались в зву-

чании, и когда звучание это достигало пика, Александра словно обжигало изнутри, бросало в жар. И неизвестно перед кем он мысленно начинал оправдываться: «И что ж, что старший? Разве я не звал мать к себе? Звал! Деньги присылал аккуратно, хотя она писала, что денег ей не надо, но ко дню рождения по пятьдесят рублей ей все равно высылал».

Может быть, матери показалось, что он не очень настойчиво звал ее к себе? У Балашова и сейчас не хватило мужества признаться себе, что, приглашая мать, в душе он надеялся на ее отказ и, по существу, рад был ему. И все потому, что никак не мог найти ключ к примирению между женой и матерью, двумя самыми родными ему женщинами, никогда ни одной из них не сумел объяснить ее несправедливость по отношению к другой. И, главное, потому еще, что в ответственности уже перед третьей—дочерью, вынужден был жертвовать первой — матерью. Так мысленно успокаивал себя Александр, тем не менее веря, что все-таки взял бы мать к себе, если бы не было рядом Федора или если бы он узнал, что матери пришлось продать избу.

Избу отец строил еще до войны. Но после войны он и десяти лет не прожил. Александру в шестнадцать лет пришлось идти на шахту работать. Федор на пять лет младше его. Техникум Александр уже после армии окончил.

Старший! Он всегда помнил, что был старшим. Когда в военные зимы ходил с санками к тому самому терриконе уголь из породы выбирать, и то понимал, — он в доме старший.

Старый терриконе зелено высился в голубом небе, и уж никто в городе, наверно, не помнит его голубых огней, как уже никто из шахтеров и не помнит гудков, по которым их звали на работу.

Его воспоминания были прерваны Светланой. Она открыла балконную дверь и как ни в чем не бывало весело сказала:

— Эй, дымильщики-курильщики, чего приуныли? Прошу

к столу! А то и гость голодный и хозяин некормленый!

— Пошли, братка, пошли! — обрадованно подтолкнул Федор Александра и почему-то на ухо прошептал:

— Обрати внимание: на Светке настоящие американские джинсы.

Только сейчас Балашов обратил внимание на праздничный наряд невестки: маленькая кофточка из материала, похожего на марлю, плотно обтягивала полные руки невестки и была завязана под грудью узлом, обнажая верхнюю часть по-девичьи плоского загорелого живота. Синие, все в заклепках и нашивках грубой ткани брюки держались на бедрах, туго обтягивали их и внизу не были подшиты, а заканчивались махориками. Александр крякнул, но ничего не сказал. Светлана улыбнулась, повела подкрашенными глазами и широко раскинула руки:

— Ну, садитесь же!

Александр прошел к столу. Сел. На столе стояли бутылки: коньяк, водка, пиво, чернела толстая, в золотой наклейке с нерусскими буквами бутылка иностранного вина, в вазе розовели черешни — хозяйка привезла с юга и берегла к празднику. Шипела яичница на сковородке, стояли банки с консервами. Сложные вкусные запахи дразнили аппетит. Сверкали в лучах солнца хрустальные бокалы и маленькие коньячные рюмочки, рюмки под водку — побольше. Белые хрустящие салфетки — не бумажные, а льняные, перехваченные блестящими кольцами, лежали на своих местах. Хозяйка следила за гостем, переводя взгляд со стола на мужчин.

— Ну, ты даешь, Светка! — покачал головой Федор, беря в руки бутылку с иностранной наклейкой. Светлана счастливо засмеялась.

Александр поднял голову от стола, и глаза его уперлись в кровать, что стояла против открытой в другую комнату двери. На покрытой байковым одеялом кровати сиротливо лежал маленький сверток в газете — подарок для матери, — платок.

Александра словно обожгло, будто дернуло током. Он сказал, поднимаясь;

— Поехали, брат. Мать заждалась.

УГОЛОК СВИДАНИЙ

Комната в пансионате для престарелых, в которой жила Анастасия Федоровна с бывшей агрономшей Тамарой Никифоровной, окошком выходила в сад, и разговоры чаще всего они вели сидя напротив окна.

Анастасия Федоровна, без сожаления вспоминая прожитую жизнь, работу в школе, размышляя вслух, заговорила о некоторой женственности в характере сына, отчего тому приходилось много терпеть в жизни.

— Это, по-видимому, издержки женского воспитания. Мальчикам необходимо мужское влияние, а муж погиб еще в финскую. Ну и жили мы вдвоем. Мы с мужем в Сибирь приехали добровольцами. До войны все времени не было на родину съездить, а в войну вся родня погибла, теперь и деревни-то нашей нет. Лес посадили на том месте. Мы както с Павликом на каникулах ездили. Растут сосенки. Одну двоюродную тетку только и нашли.

Павлик в детстве был трудолюбив. Он у меня печку топил, и за водой на речку вместе ходили, ну а доброты был необыкновенной. Припоминаю, в классе втором, третьем учился, прибегает из школы: «Мама, я Толику цветные карандаши подарил! Он рисует, а у него нет!» А карандаши те я на водочный талон выменяла. Учителям шефы-шахтеры иногда «вырешали», как тогда говорили.

Соседка, когда-то громогласная, видимо, атаманского характера, ныне раздражительно хрипящая от многолетнего курения старуха, негодующе взорвалась:

— Он бессердечный, ваш Павлик! Как ему доверяют руководство людьми? Чему он может научить и как, извини-

те, вы его воспитывали? Вообще в таком случае, что такое нравственность?

Она сердито схватила свои костыли, но Анастасия Федоровна, привыкшая к этой, в сущности, безобидной резкости, остановила ее.

— Позвольте с вами не согласиться, уважаемая Тамара Никифоровна. Я вам должна сказать, что, к сожалению, да это вы и без меня знаете, обстоятельства чаще всего сильнее нас. Павлик рос внимательным всегда. Таким и остался. Вы же видели его, разве это не бросается в глаза? Может быть, Наталья, жена его, излишне категорична, но почти всегда справедлива и откровенна. А это в наше время, согласитесь, дефицитные человеческие свойства.

Анастасия Федоровна давно посвятила соседку в свои семейные проблемы: двухкомнатная квартира, а Петя, внук, решил жениться. Куда молодых селить? К родителям в спальню? Или вместе с бабушкой? У сына постоянная вечерняя работа. Он подрабатывает. А после Петечкиной свадьбы вообще, как сейчас говорят, «завал».

Она не удержалась, и хоть не впервые, но заметила:

— Нет, вы напрасно думаете, что им так просто было решиться на это. Собственно, в конечном итоге я настояла сама, чтобы меня определили в пансионат.

А потом, все это не так просто, оказывается! Знаете, Наташе пришлось на ноги поднять всех знакомых. Честное слово, даже неловко было видеть, как из-за старухи отнимают время у деловых людей. Какие бумаги только не сочиняли, чтоб определить мне это место. Ну и так ли уж много изменилось? — Анастасия Федоровна улыбнулась. — Там у меня комната была с внуком, здесь мы с вами. Что касается меня, то мне даже веселее. Кроме того, я же говорила, что внук меня хочет забрать к себе: «Как только я, бабушка, раздобуду настоящую двухкомнатную квартиру, ты станешь жить с нами».

Вы знаете, он такой необыкновенно эрудированный мальчик. Правда, в нем есть отцовская мягкость, но, я ду-

маю, что в конечном счете, это хорошо все-таки. Особенно по теперешним временам. Он очень застенчив. Скрытен. Отдаст, знаю, последнюю рубашку. И, по-моему, его девочка тоже мила. Знаете, без такого современного практицизма, даже сентиментальная. Она совсем еще ребенок. Восемнадцать лет перед самой свадьбой исполнилось.

Бог с ней, с квартирой, когда это еще будет. Главное, у них бы выходило складно да ладно, — со вздохом сказала Анастасия Федоровна, однако в задумчивости добавила:

— Я иногда думаю: все-таки после выхода на пенсию в семье к человеку начинают относиться по-новому. Знаете, вроде бы заботливее, бережнее, а на самом деле, когда он превращается в общую заботу, я так думаю теперь, то вдруг для всех почему-то становится общим раздражителем. И когда вдруг осознаешь себя всеобщей помехой, поверьте, не очень-то весело. И поэтому здесь мне и в самом деле уютнее, что ли... Но, может быть, я все это и выдумала? Старческая подозрительность, знаете. Может ведь быть такое?

В словах Анастасии Федоровны прозвучала нескрываемая грусть, отчего агрономша, несколько минут назад неистово клеймившая молодежь, сипло откашлялась, разминая в руках «беломорину», и торопливо подтвердила, что такое случается.

Агрономша, можно сказать, была ветераном пансионата. Анастасия Федоровна поселилась здесь, в теперешней своей комнате, чуть менее года назад вместо умершей незадолго библиотекарши. Первая встреча с бывшей агрономшей была не очень приятной.

— Вы что, не знаете, что я бесконечно курю? — сердито обратилась Тамара Никифоровна к медсестре, приведшей Анастасию Федоровну. — Переселите лучше ко мне Глазову!

Она лежала на кровати с папиросой в зубах: большая, тяжелая, коротко подстриженная. Однако в глубоких морщинах широкого лица, заметила Анастасия Федоровна,

словно бы пряталась боязливая доброта, прикрываясь нарочитой грубостью. И, опережая Наташу, невестку, сопровождавшую ее и собиравшуюся уже было возмутиться, Анастасия Федоровна решительно заявила:

— А я к табаку привычная. Ночью к тому же у меня бессонница, так что не очень уж одиноко будет.

И с этими словами она прошла к своей теперь уже кровати, поставила чемодан и обратилась к провожатым:

— У нас все будет хорошо, ступайте! Иди, Наташа.

Но сноха не любила компромиссов.

— О каком табаке вы еще говорите, мама? И вообще, есть внутренний распорядок, и что тут за партизанство?!

На желтых морщинистых щеках соседки загорелись крупные пятна. Анастасия Федоровна чуть ли не вытолкала сноху за дверь:

— Наташа, умоляю, все будет как надо. Ты же знаешь меня. Иди. И Павлику скажи — все в порядке. Я уж спускаться не стану.

И сразу же, как только за провожатыми закрылась дверь, обратилась к соседке:

— Вы уж не обижайтесь на нее. Вообще-то сноха у меня человек мягкий.

— Сноха? — удивленно, но вполне миролюбиво переспросила женщина, ткнув окурок в пепельницу. И, не дожидаясь пояснений, продолжила:

— Я и в самом деле до безобразия много курю. А ходить мне трудно. Ноги не держат. На полях, видимо, все оставила. Агрономша я бывшая. Селезнева Тамара Никифоровна, — и с горькой ухмылкой добавила, — в отличие от вас, круглая сирота.

С тех пор они и зажили вместе, взаимно внимательные и предупредительные, без споров, капризов, без взаимного стариковского брюзжания. Но в дни прихода к Анастасии Федоровне родственников, не очень, правда, частых, у них чуть ли не до размолвок доходило. Тамара Никифоровна раздражалась и часто курила:

— Я, к счастью, не ваша родственница, милочка, и оставьте при себе ваше варенье, — с откровенным презрением отказалась она от Натальиного угощения в первое же посещение Анастасии Федоровны снохой с сыном.

Вот и сегодняшняя беседа началась с того, что Анастасия Федоровна вспомнила об одном из своих разговоров со снохой.

— А я иногда думаю, — захрипела агрономша, — не воображайте, что ваши дети очень занимают меня, — но иногда я думаю, что с удовольствием бы поглядела на эту беззастенчиво красивую физиономию в тот момент, когда бы ее самое сноха привезла сюда! Вы думаете, будет подругому? А вообще-то, бог с вами со всеми! Что посеешь, то и пожнешь! Сердоболие безропотное к добру не приводит. Вот ваш сын! Да он бессердечный, ваш Павлик!

Неизвестно еще, как долго бы соседки препирались, если бы в это время не вошла дежурная пригласить Анастасию Федоровну вниз, в «уголок свиданий».

Анастасия Федоровна обрадовалась, но от неожиданности растерялась, засуетилась. Хотела надеть шерстяную вишневую кофту, подарок сына ко дню рождения, но раздумала. Набросила на плечи свою старую шаль и, счастливая, уже из дверей сказала соседке:

— Курите в комнате. Я не скоро вернусь. Тогда и проветрить можно будет. На улице, смотрите, какое солнышко!

По коридору, пока шла, встречные спрашивали, и это ей было приятно:

— Не к вам ли пришли? — хотя каждый хорошо знал, что именно к ней. Гости в пансионате вообще бывают редко, а такие постоянные — только у Анастасии Федоровны.

«Уголок свиданий» был уютен. От общего большого коридора против входных дверей его отделяла декоративная металлическая решетка, украшенная горшочками с вьющимися вечнозелеными цветами. Диван, стол, два кресла, окно, в котором просматривался сад, — образовывали удобную гостиную.

На фоне зелени и увидела Анастасия Федоровна своих гостей. Медленно спускаясь по лестнице, она уже несколько успокоилась, так что глядя на сына — высокого сорокапятилетнего мужчину с остатками кудрей на голове, с прищуренным взглядом карих «мои», — непременно про себя отмечала Анастасия Федоровна) глаз, привычно подумала, что Наташа не всегда внимательна к мужу, — на Павле были помятые брюки. А рубашку, по всей вероятности, он гладил сам — вон какие манжеты и воротничок.

В руках сына она заметила коробку с тортом и едва удержалась, чтобы не расплакаться. Захотелось погладить его жесткие волосы, но не решилась.

Невестка, полноватая, но сохранившая фигуру, была как всегда, со вкусом причесана и накрашена. Подумалось, что при всех минусах пара получилась неплохая. Подойдя поближе, Анастасия Федоровна заметила, что дети чем-то взволнованы. Так и есть. В глазах сына, наклонившегося для поцелуя, углядела затаенную тревогу.

— Что случилось? — усаживаясь на диван рядом со снохой, спросила Анастасия Федоровна.

— А что, собственно, должно случиться? — вопросом на вопрос ответила Наталья. — Тебя удивляет наш преждевременный визит? Стоят последние солнечные дни. Скоро задождит. Вот и решили прогуляться. Воздухом подышать. У вас здесь, на окраине, прекрасный воздух.

— А знаешь, — она приятно засмеялась, — ты права, мама, случилось. Павел вчера неожиданно получил за договорную работу. Ну и решили к тебе приехать. Праздник отметить!

— Так своевременно, понимаешь, — сын поставил на стол коробку с тортом, — обычно же в конце квартала денег не хватает. Выдают по частям. А на этот раз откуда-то взялась сумасшедшая экономия. Даже коэффициент актуальности работы, чего никогда не бывало, оплатили! Чуть ли не половину прибавили практически... Тебе неинтересно, мам, да?

Анастасия Федоровна подумала, что все-таки не в премии дело. Однако она не стала надоедать расспросами. Тем более, что сноха вовремя поинтересовалась, в срок ли меняют им белье.

Вспомнив разговор с медсестрой о Натальиной просьбе, поторопилась Анастасия Федоровна успокоить ее, что сроки выдерживают строго, и перевела разговор на другую тему.

— Значит у вас все хорошо, — несколько многозначительно произнесла она эти слова, и обвела сына со снохой не то не понявших ее, не то молчавших преднамеренно, испытующим взглядом. — А у Петеньки?

— Петенька? Как всегда. Мировые проблемы. Стреляет. Готовится ехать на первенство Союза. Звезда. Все обычно. Отцы и дети. Все в норме, мама! — Сын достал из кармана и вертел в руках пачку сигарет.

— Павел, — вроде бы предупредила сноха, однако Анастасия Федоровна уловила в ее голосе не то подбадривающую, не то призывную нотку. Она вопросительно поглядела на сына. Тот, опустив голову, сосредоточенно разминал пальцами сигарету, затем поднял голову, повернулся к жене и поспешно произнес:

— Знаю, знаю.

Анастасии Федоровне показалось, что он говорит не о курении.

— У нас сегодня старушка одна отошла. Позавчера в столовой ее видела. Крепенькая такая была, — как-то вдруг сообщила Анастасия Федоровна, и ей стало неловко. И тогда, видя, как сын все еще нерешительно мнет в пальцах сигарету, предложила: — Давайте на крыльцо выйдем.

День, обманно тепло светивший в окно, на крыльце встретил их холодными порывами ветра. Анастасия Федоровна укуталась в шаль, прижалась к двери и потянула за рукав плаща сноху.

— Иди сюда, Наташа, а то ведь всю прическу разметет.

И тут дальнозоркая Анастасия Федоровна увидела входящего в ограду внука.

— Глядите, Петенька приехал, — обрадовалась она, — вот это и вправду настоящий праздник!

Петенька, коротко стриженный, гладко причесанный, в замшевой куртке, в джинсах, в туфлях на высоких каблуках, отчего казался ростом выше отца, подошел с растерянной улыбкой, он явно не ожидал встретить здесь родителей.

— Конец света! Здравствуй, бабуля! У тебя сегодня день открытых дверей! —взбежав на крыльцо, он протянул Анастасии Федоровне букет георгинов.

Мать иронически заметила по этому поводу:

— Какой трогательный пример любви к бабушке! И как это жена тебя одного отпустила? Уж не сбежал ли ты? А может быть, тренировка принесена в жертву?

Сын, словно бы не слыша матери, обратился к бабушке:

— Я, бабуля, на минутку. Со стрельбища как раз возвращались, оно там, за последней трамвайной остановкой. Назад едем, «богадельню» миновали...

— Петр! — строго одернул его отец. — Мог бы свои штучки оставить для более подходящего момента...

— Да чего вы, в самом деле! Вот так, бабуля, они всегда со мной. Я же правду говорю. Проехали, на остановке у магазина вижу — цветы продают. Про бабушку вспомнил. Думаю, рядом же. Выскочил почти на ходу из трамвая. Купил цветы. Ну и встречным прикатил. Как здоровье, бабуля?

Сказать, что Анастасия Федоровна очень любила внука — ничего не сказать. Это была, как она говорила, ее вечная сладкая каторга. У них, с первых моментов осознания внуком жизни, составился отдельный от родителей Петеньки союз, который оба по-своему защищали и оберегали от вторжений. Петенька — сопротивлением родительской воле, посягающей на его свободу, бабушка — скрытым пособничеством в осуществлении внуковых затей. Если Анастасия Федоровна и тосковала в пансионате, так это от невозможности участвовать в решении бесконечных Петенькиных

проблем, в которых тот, по глубокому убеждению бабушки, без ее помощи разобраться был не в состоянии.

Слезы радости при виде всех членов семьи застлали было ей глаза. Но она, сделав вид, что вынимает платком из глаз соринку, торопливо утерлась... Дети не любили этого.

— Не ссорьтесь, пожалуйста, дети! Вот мы все вместе, и давайте говорить! — так обычно увещевала она их дома, сидя за столом.

— Я, бабуля, лучше к тебе в другой раз приду! Завтра. Мы с Катей приедем. — Чмокнув Анастасию Федоровну в щеку, внук заторопился уходить. — У нас опять пристрелка завтра, буду ехать, заскочу! Привет!

Так он всегда убегал, минутки свободной у него не бывало. Анастасия Федоровна с улыбкой глядела ему вслед. А Петенька обернулся у калитки, приветственно поднял руку...

Конечно же, заговорили о нем. Наталья пожаловалась на капризы своей снохи, на невиданные ее запросы.

— Понимаешь, мама, не советуются, не интересуются, как в доме дела, чем должны мы жить. Получили стипендии, еще две сотни заняли и заявляются домой «в фирмѐ» по две сотни за штуку! Мода, я понимаю, но надо же и реальные наши возможности учитывать. Потом, она же теперь жена, надо учиться хозяйство вести. А Петенька твой притащил «диск» Клиффа Ричарда за сорок пять рублей от Остужева, ты их знаешь, тот с родителями из-за границы вернулся, там тряпок, тряпок! Так Петя у него приобрел «клевый» диск, как они выражаются, представляешь? Ничего не хотят понимать, мама!.. Я пробовала разговаривать с Катиной матерью. Но та, естественно, на стороне дочери. Хотя к себе жить их не зовут!

— У нас здесь, в соседнем общежитии, молодежь с утра до вечера тоже музыку крутит. Голова другой раз кругом идет. А мы привыкли, кажется... Что поделаешь... весело.

Анастасия Федоровна совсем не думала выгораживать внука, просто она хотела сказать, что молодость всегда эгоистична. Она подумала, что стариков к внукам влечет как бы вернувшееся из молодости ощущение своей причастности к ограждению их от всех опасностей в их беспомощности, ощущение, без которого человеку живется не очень весело.

— Хорошо тебе, мама, философствовать здесь. А между прочим, Петенька таким стал не без твоего участия, — с матового лица Натальи исчезла маска благодушной красивости. Красные губы ее обиженно надломились в уголках, — если бы ты меньше оберегала его да защищала, он не был бы эгоистом. Ему теперь вот ружье надо. Непременно ручной работы и всего за тысячу рублей! Он же мастер спорта! И какое ему дело, где ее, эту тысячу брать!

Анастасия Федоровна вспомнила, как в год рождения Петеньки купила себе на платье пан-бархату. Получила свои учительские отпускные, никуда не поехала, так как одних ребят с малышом побоялась оставить, и купила, серый, с малиновыми цветами отрез. У нее никогда не было такого роскошного платья. Такого модного. А тут решилась. Стоя у прилавка магазина, вдруг представила себе, как после каникул, в августе, придет в школу в пан-бархатном платье. Как все будут удивлены, как, может быть, удивится и Виктор Михайлович...

Платье из пан-бархата сшили снохе, потому что, господи, ну чего там! Конечно, платье — это не штаны из этой чертовой кожи... Ну говорят же, черт оставил моду, а сам ушел в воду... На пан-бархат столько лет моды не было, а вернулась же!

— Большие дети — большие заботы, — вслух подумала Анастасия Федоровна, как бы не слыша сноху. Этот спор у них давний. И совсем не такой уж и эгоист Петенька, как кажется Наталье.

Слава богу, он прилично учился. А кто воспитал в нем усидчивость? Откуда пошло его чемпионство?

— Да все образуется, — Анастасии Федоровне стало по-настоящему жаль сноху. — Погоди, родится у них ребенок, они и повзрослеют. Помнишь, когда тебя Паша из родильного привез, сказал, что он будто на сто лет повзрослел. Помнишь? «Мне кажется, я теперь понимаю, как надо людям, живущим рядом, быть в согласии». Помнишь?

— Я не помню, куда последнюю квитанцию на белье засунула, а вы хотите, чтобы я чуть ли не тридцатилетней давности чепуху в голове держала! — с раздражением ответила Наталья.

А Анастасия Федоровна вдруг почувствовала, что холодно на дворе и шаль не держит тепло.

— Замерзла я, надо бы в дом, — обратилась она к молчаливо курившему сыну. — А ты, Паша, много куришь, горло-то совсем не бережешь. — Павел последнее время жаловался на боль в горле.

Сноха спросила:

— Мы будем прощаться, Павел? — и опять в голосе ее послышалось какое-то нетерпение.

— Да-да, мы, мама, пожалуй, пойдем, — поторопился подтвердить Павел.

Анастасия Федоровна, подставляя щеку для поцелуя, заметила, что глаза сына наполнились грустью. Она осторожно, губами, коснулась колючей сыновьей щеки.

— Не расстраивайся, сынок, мне здесь неплохо.

Анастасия Федоровна прежде чем вернуться к себе пошла к дежурной и попросила ее передать торт в детское отделение, в котором жили маленькие инвалиды. Цветы внука она поставила не на свою тумбочку, а на окошко, посредине, и прилегла отохнуть.

Часа через четыре после того, как проводила гостей, Анастасия Федоровна почувствовала недомогание. Спустилась в сестринскую. Дежурная медсестра, измерив температуру, направила ее в изолятор.

Тамара Никифоровна пришла почти следом и принесла термос с кипятком и банку малинового варенья. Она заста-

вила Анастасию Федоровну надеть на ноги носки из собачьей шерсти, которые берегла для подобного случая. Потом уложила больную в кровать, укрыла, подоткнула одеяло со всех сторон, выключила свет и, уходя, плотно затворила за собой дверь.

На следующий день после прихода врача вновь объявилась Тамара Никифоровна. На этот раз с медом и каким-то пахучим обжигающим снадобьем натерла Анастасии Федоровне спину, и та задремала.

Но настоящий сон не шел к Анастасии Федоровне, распутывались воспоминания, слышались слова, припоминались разговоры. Не тягостно, не радостно — просто беспрерывно и неожиданно.

Вспомнилась Петенькина болезнь, когда сын со снохой были в Крыму на курорте. Не скарлатины она испугалась, а того, что скажут: не уберегла бабка. И все раздумывала — послать или не послать телеграмму. И все-таки послала. Права была, конечно, Наталья, говоря, что от растерянности бабушка сочинила то послание. Могла, конечно, и без телеграммы обойтись. Петенька все равно был в больнице, а к приезду родителей кризис миновал.

Детство сына и внука в ее сознании представлялись единым течением времени, и более того, они и в памяти ее почти не имели для нее различия. И кто из них — Паша или Петенька—пошел раньше? Паше не было еще и годика, когда он с остановками стал передвигаться от стула к ножке стола и обратно. Петенька же — это четко хранилось в памяти Анастасии Федоровны — встал на девятом месяце, а потом отчего-то вновь стал ползать. Постоит-постоит — да на четвереньки! А вот у кого из них первого прорезались зубки — запамятовала. Будто и не при ней все это было. Еще одно предстало прямо сегодняшним видением: Паша не любил в школе уроки истории. До слез не любил. «Может быть, оттого, что ее преподавал Виктор Михайлович?» — с запоздалой догадкой подумала Анастасия Федоровна, однако ни сожаления, ни удивления не почувствовала: туман-

но наслаиваясь, закрывая друг дружку, суетно сменялись воспоминания.

Обед ей принесла Тамара Никифоровна. Немного похлебала кисленьких щей да еще попила компоту, и слабость вновь свалила ее на кровать. А соседка стала выкладывать новости. Дня не проходило в пансионате без новостей. Оказывается, Селезнев из сто двадцать пятой комнаты — такой полный старик с бородкой клинышком и Дударева из тринадцатой, бывшая бухгалтерша мебельной фабрики, — решили пожениться. В одну комнату им надо съехаться, а для этого необходимо свидетельство о браке.

— Они, представляете себе, поехали в загс заявление подавать. Из ума, видимо, народ выживает совсем, — беззлобно хрипела агрономша.

Анастасия Федоровна ей возразила. Слабым голоском, с тихой улыбкой, как когда-то внушала ребятишкам в классе:

— Ничего здесь странного нет. Душа человеческая к одиночеству не приспособлена. Жить физически, как вот мы с вами, человек, конечно, везде может, а душа...

— Вы все философствуете, — перебила Тамара Никифоровна, — а им уже по восьмому десятку!

— Так что ж с того? В старости заботливое слово, доброе — разве лишнее? Может быть, в *той* жизни, — как-то незаметно для себя Анастасия Федоровна разделила жизнь на *ту,* что была прожита за пансионатскими стенами, и на *эту,* — теперешнюю, — они не видели того, что теперь разглядели друг в друге.

— Нет, — несогласно захрипела в смехе Тамара Никифоровна, — вы, видать, и сами недалеки от них. — С этими словами она подхватила костыли: — Пошла-ка я курить, а потом загляну.

Анастасия Федоровна после ее ухода продолжала размышлять о старичках-молодоженах.

Что же, и в самом деле, может быть, отказывали себе, обстоятельства не давали жить, как хотелось. А сама она?

Неплохой же человек был Виктор Михайлович, а все же не решалась. Из-за сына? Когда узнала, что Виктор к Пеньковой посватался, всю ночь проревела. Но на званый обед пошла...

Тут мысли ее обернулись ко вчерашнему приходу гостей. Все-таки странно, что они вдруг среди недели объявились. Но, поразмыслив, решила, что странного и нет ничего. Свалились большие деньги, и снохе неудобно было отказать в его просьбе съездить к матери. Павлик всегда был внимательным. Невезучий, правда, какой-то.

Осуждать его многие осуждают. Но главное, что она-то, мать, не осуждает, а жалеет и понимает. И не пожелай она сама пойти в пансионат, стал бы он ее неволить? Конечно же нет. Получит Петенька квартиру, родится у них маленький, и станет Анастасия Федоровна его нянчить и доживать век с любимыми детьми.

Так мечтает она и не ведает, что в это время ее внук в приемном покое уговаривает дежурную пропустить его к бабушке в изолятор. Ну, как же девушка не может понять его, родного внука? И та поняла, даже объяснила, как найти изолятор. И в накинутом на плечи белом развевающемся халате Петенька уже вышагивает по лестнице, коридору и предстает перед удивленной и очень обрадованной неожиданной встречей бабушкой.

— Бабуля, ты чего это расхворалась? — весело поинтересовался он от дверей, затем подставил стул, сел так, чтобы она его хорошо видела... — Мать, видать, права, когда говорит, что за вами тут свиристелки не следят, деньги задарма получают. Я ей скажу, она им задаст. Однажды она хвасталась, по ее сигналу сюда комиссия облздравотдела выезжала! Да ты знаешь мать! Она все может...

Анастасия Федоровна встревожилась.

— Боже упаси тебя, Петенька! При чем здесь кто-то. Дряхлая старуха, вот и расклеиваюсь по всякому пустяку. Они-то, наоборот, лечат меня. Ты уж, милок, родителям не говори, слышишь? Они и так переживают. Паша мне вчера

таким расстроенным показался. Ему неловко передо мной, я понимаю. Но чего душу травить, мало ли что люди скажут. Главное, мы между собой договорились. Не навеки же!

— И я им говорю!

Внук был все-таки красив. В лице его, мужественном лице сильного молодого мужчины, Анастасия Федоровна явственно видела сохранившиеся детские черты, и это умиляло ее. — Они, бабуся, ничего не хотят понимать. Ты одна всегда была у нас самая трезвая. Ты, я знаю, и рассудишь правильно. Отец, чуть чего, сразу на тебя ссылается. Дескать, половина квартиры твоя! Ну, а чья же? Конечно, твоя. Верно, бабуля? Но я же у тебя один наследник, верно? Вот и говорю: бабуля мне ее подарит. Красикову дед «Жигули» подарил! Темные они, предки, народ, бабуля!

Внук достал из кармана пиджака аккуратно сложенный листок бумаги. — Здесь, бабуля, заявление от тебя. Ты заявляешь, что согласна на размен квартиры. Ты же все одно — не живешь там, так же? Я им говорил, что пустая формальность. Они вчера приезжали тебя уговаривать, чтобы ты не соглашалась заявление подписывать! Родители называются, видала? Я хотел по-хорошему. Тихо, мирно. Разделиться, как люди. Разъехаться. Не уживаются, бабуля, наши женщины вместе. Се ля ви! Катя настаивает на разъезде. Ей же волноваться нельзя, ты знаешь. А она грозит: «Уйду!» А я ее люблю! Бабуля! И потом — у нас же маленький будет! Не хотели добром, пусть теперь их суд заставит делиться. На вот ручку, бабуля. Импортная. Ни у кого такой нет. Четыре штуки раздарил, те трехцветные, а в моей семь цветов. Конец света, шик!

Петенька пододвинулся к тумбочке, стоявшей в изголовье кровати, положил на нее заявление, а Анастасия Федоровна, глядя на его широкую белозубую улыбку, подумала, что она ведь так и не смогла вспомнить, у кого же из них, у Павлика или у Петеньки, раньше прорезались зубки...

РЯБИНА У КРЫЛЬЦА

Дмитрий Константинович все наказывал:

— Ты не вздумай без меня картошку копать. Знаю тебя, хлопотунью. Погода вон какая! Мелочь добирай. Морковку подергай. А за картошку не берись, слышишь, не берись. К субботе непременно возвернусь.

Так он наказывал уже от калитки. Наталья с вечера мыла полы, выскоблила голиком и плахи, проложенные от крыльца к заплоту.

— Гляди мне тут, — слегка толкнув Наталью в тугой бок, шутливо сострожился Дмитрий Константинович. — Гляди!

На нем было длинное против теперешней моды серое габардиновое пальто и серая же фетровая шляпа. В одной руке сетка с гостинцами, к внуку на день рождения собрался, в другой — толстая полированная сучковатая трость фабричной работы. По домашним делам когда управлялся, то всегда пользовался своей, самодельной. Без палки уж годов пятнадцать, как не ходит, по травме из шахты вывели.

Но хоть и хром, от чего сильно горбится в спине, Дмитрий Константинович выглядит бодро и как-то осанисто. И уж никак не дать ему шестидесяти пяти, особенно когда вот таким франтом вырядится.

— А ты не спеши. Чего тебе торопиться, Константиныч, — Наталья пристально оглядывает его, обирая с пальто чуть приметные не то ниточки, не то пушинки, — коли будут принимать хорошо, и гости. Хозяйство-то невелико, управлюсь...

Ее круглое с вздернутым носиком лицо румяно. Она в фуфайке, в стоптанных полуботинках на босу ногу. Полные короткие икры красно обдало холодом от инея, выбелившего огородную зелень.

— Шла бы в избу, а то вот и ноги как в огне, еще и за-

студишься, — говорит Константиныч, легонько подталкивая ее.

— Да что мне станется, — улыбается Наталья,—я от мороза, как та рябина, только слаще!

— Да и то! — смеется Константиныч и, быстро нагнувшись,—против него Наталья вовсе коротышка,—целует ее.

Из-за калитки опять оборотился:

— К обеду в субботу жди.

Дмитрий Константинович оглянулся с моста, проулок их выходил к нему. Наталья стояла уже на крыльце на фоне сенок, желтеющих в утренней голубой светлости, и узорчато лежали на их тесовой крыше оранжевые гроздья рябины.

Маленьким прутиком посадил ее Дмитрий Константинович в год рождения сына. Она почему-то высоко в рост не пошла, раскинулась, расшеперилась, и ветки только что в дверь не лезут.

Оглянулся Константиныч, но махать не стал, как раз сосед Григорий Лишаков окликнул:

— В гости, Константиныч, в Междуречье? А что это ты без молодой-то, али Генке мачеха не по нутру?

— А что он мне за указ, Генка? — Дмитрий Константинович чуть замедлил шаг. — Хозяйство, сам знаешь, не бросишь.

— Это верно, — подтвердил Григорий.—Ее, холеру, скотину, тоже кормить надо.—Он явно был настроен на разговор, подошел совсем близко к забору. Но Дмитрий Константинович сделал вид, что не заметил этого, и прибавил шагу.

Сын Геннадий прислал письмо: дескать, внуку твоему, Дмитрию Оськину, исполняется десять лет, посему ждет он деда в гости. Так и написал: деда. Вот и собрался Константиныч в Междуреченск, где живет Геннадий, он там горным мастером на шахте. Было это во вторник, поутру.

А в субботу Наталья к обеду наварила борща, испекла пирог с рыбой (в магазин палтус привезли, Константиныч

очень уж любил, когда она рыбий пирог пекла). Часа в три стала затапливать баню. Печь Константиныч недавно переклал сам, новый бачок вмазал. И часу не прошло, а баня уже готова была. Наталья и корму задала курам и поросенку пораньше, и в избе прибралась. Глянет на часы, а уж четыре, пять, шесть...

Часов до восьми она все подтапливала баню. Потом поняла, что не приедет он сегодня. Топила она баню и в воскресенье к вечеру. Только Дмитрий Константинович и в воскресенье не приехал. А утром в понедельник, часов в одиннадцать заявился сын его, Геннадий Дмитриевич.

Наталья была в избе, когда услышала, как затявкала строго Жучка. Вышла на крыльцо и не признала было гостя. Виделись они один-два раза. Она прикрикнула на Жучку, бросила в нее попавшей под руку палкой, та забилась под крыльцо и все рычала.

— Здравствуйте, — сказал Геннадий Дмитриевич, когда поднялся на крыльцо. Зашли в дом. Наталья молчала. Гость тоже молчал, потом, все стоя у порога, объявил:

— Похоронили мы в субботу отца. В среду умер. Сердце. В субботу похоронили.—Он прошел и сел на табуретку. А Наталья с удивлением и непониманием смотрела на него. Руки только к груди подняла, стояла и глядела на сидящего за столом в светлом плаще мужчину. Молчали.

— Чисто у вас, — глядя на пол, сказал Геннадий Дмитриевич. Потом шляпу, что держал на коленях, положил на стол.

— Как же вы это так? — только и спросила Наталья и все смотрела на Геннадия Дмитриевича. Ноздри его широкого, большого отцовского носа приметно шевелились. Единственно, что и произнесла. Не поднимая голову, гость с нескрываемой досадой произнес в ответ:

— Да вы сядьте, чего уж теперь...—и, забрав со стола шляпу, стал вертеть ее в руках, стряхивая невидимые пылинки...

— Разделись бы, Геннадий Дмитриевич, — тихо при-

гласила Наталья.—А я тут сейчас.— Она медленно пошла из комнаты, осторожно притворила дверь.

Геннадий Дмитриевич перестал теребить шляпу и стал оглядываться вокруг. С тех пор, как он был здесь последний раз, полгода назад, ничего не изменилось. Все было по-прежнему. Шкаф на стене между печкой и кухонным, отцовской работы, столом. Рукомойник около узкой отгородки возле двери.

Новое—только занавески на окнах да в горницу, раньше их не было. Геннадий Дмитриевич привстал, протянул руку, в тесноте тут и подниматься с табуретки не стоило, и чуть приподнял занавеску. И в горнице ничего не изменилось как будто. Прямо против двери, над комодом, на котором стоял телевизор, висел портрет молодых отца с матерью. И все-таки что-то было в горнице от нее, этой чужой, ненавистной женщины, с которой он приехал рассчитаться раз и навсегда. И за свой позор, что пришлось пережить в последний приезд, и за смерть отца, ибо был уверен Геннадий Дмитриевич, если бы не Наталья,—он и имени-то ее не мог произносить без злобы,—то жить бы да жить старику.

А позор вышел на всю Родниковую. На Родниковой тайн не бывает. У кого что ни случись, все равно, как ветром по логам разнесет, от старого террикона до Коровьего лога все узнают. Вот и в тот раз. Еще и до дому не дошел Геннадий, а про новость уже наслышался.

Он приехал с женой и Димкой попроведать старика да еще попытаться уговорить его все-таки продать избу и переехать в Междуречье. А тут видите: понавез дед ящиков из-под консервов, поразбивал их, и принялся старую избу обшивать. Одна стенка у него уже готова была, а сенцы и вовсе новым тесом перебрал.

— Ты чего это, тятя?—поинтересовался Геннадий после того, как они поздоровались и закурили на крыльце.— Тут мне про тебя прямо анекдоты рассказывают! Я тебя все к себе жду. Пора и избу уж продавать, очередь на ма-

шину подходит! И вообще, один старик! Я сестре Юльке написал, а у тебя, говорят, медовый месяц? Это как же понимать, тятя?

— Так и понимать, что не твоего это ума дело, сынок. Приехали, ну и, пожалуйста, гостями в дом...

— Да она же нашей Юльки моложе, папаша,—поддержала Геннадия сноха. — Прошлым летом, помните, как ее Поздничиха гоняла по всем трем Родниковым улицам? Да если бы одна Поздничиха... Честное слово, вы меня простите, но это уже ни в какие ворота... Люди как у магазина встречают: «Свихнулся ваш дед, Наташу в дом взял!».

При этих словах и увидел впервые Геннадий Наталью на пороге отцовского дома. Двери растворились, и женщина встала как в рамке. Невысокая, красивая. Она слышала, все слышала, это было видно по лицу, по круглым щекам которого сочилась злость сдерживаемого гнева. Сказала же тихо, без улыбки и с достоинством:

— Звал бы, Константиныч, гостей в дом. Чего на ветру-то держать.—И пошла сама, не закрыв двери.

Старик дверь притворил и строго сказал:

— Наталья мне по закону жена. Расписались. В мачехи вам не навязываю. Но обижать не допущу...

Настырность отцовскую Геннадий еще с детства знал. Помнил даже, как они с матерью ему на шахту «тормозки» (то есть еду) носили. Однажды отец почти двое суток не поднимался из забоя, чинил мотор. Слесари не могли, видно, ничего поделать, вот он и взялся им доказать.

Мать тогда всю ночь проплакала, глаз не сомкнула. Чуть свет его, Генку, за руку и через гору по лесу, так быстрее, на шахту. И всю дорогу почти бегом, да все в слезах, глядя на нее и Генка ревел. А на шахте успокоили: «Живой ваш Оськин, только сказал, пока не запустит мотор, на-гора не выйдет». На своем и настоял, «тормозки» ему со сменой передавали. И дома все по-отцовски всегда было. Но ругани никакой. Может, мать с ним ладить умела, а может, и сам он. В доме всегда тихо было, скучнова-

то, но тихо и, наверное, между ними даже дружно. Они все вместе делали. И даже по ягоду, Геннадий и то помнит, по землянику ходили вместе.

А теперь смотрит он на портрет над комодом. Прямо на него глядят отец и мать. И тут неожиданно подумалось Геннадию Дмитриевичу, что ведь, в сущности, ни того, ни другого он как следует и не знал.

В тот приезд, уже сидя за столом, а Наталья оказалась мастерицей готовить, он не утерпел и опять завел разговор, только уже о матери. От обиды, что в их доме хозяйствует какая-то разбитная молодайка.

— Соседям-то не стыдно в глаза глядеть? Вы с матерью сколько? Почти сорок лет прожили, внуки вон какие, а ты, значит, в память о ней любовницу заводишь. Ей, поди, над тобой, старым, потеха, помрет, думает, мне все и останется! Ты глухой, слепой, что ли? Значит, мать всю жизнь спину гнула со скотиной и огородом, нас растила, тебя обихаживала, а теперь это в приданое прелестной твоей барышне? Она тебе еще покажет, вон какая! Ядреная!

И все это при ней, при Наталье. Зря не зря, а вот сказал. Рубанул кулаком по столу старик, все ж таки была в нем силенка, как рубанул, стаканы на пол, тарелки вверх дном. Ноздри раздулись, глаза выпучил:

— Ты,—говорит,—подлец, за чьим столом сидишь?

А Наталья встала, подошла, руку ему на плечо положила и тихо, все она тихо, говорит:

— Не шуми, Константиныч, не шуми. Это же не Геннадий Дмитриевич говорит, это же все водка. А ты не шуми, вредно тебе, знаешь, так и сердце недолго надорвать... Давайте-ка еще по маленькой за приезд гостей и за здоровье.

Так и утихомирила старика, а то бы драка неминуема. Наутро Геннадий Дмитриевич со всей семьей уехал молча. С тех пор и не бывал. А вот и пришлось. В остатный раз только уж теперь и без матери и без отца.

Сидит он один в избе. Вот вернулась и Наталья. Гла-

за красные. Плакала. Однако голос ровный, без дрожи:

— Чего же вы не раздеваетесь, Геннадий Дмитриевич? Да в горницу проходите.

Она на своем настояла. Геннадию в горнице не сиделось. Раздвинул занавески в кухне, где Наталья хлопотала около печи.

— Выйду, покурю,—сказал он. Потому что все никак не мог подступиться к разговору, ради которого приехал. Эта Натальина вежливость, какое-то ее смирение все сбивали его с толку.

— Чего уж,—остановила она его.—Отец всегда в избе дымил. Вон и запас его,—она указала на печной приступок.—«Приму» все я брала никак не меньше двадцати пачек в раз. Мама ваша покойница, отец говорил, так же покупала.

Геннадию Дмитриевичу вспомнилось, что действительно у отца всегда на этом печном приступке лежали сигареты. Вот только какие, он этого не замечал.

— Григорий Лишаков,— сосед, знаете? Спрашивал, чего это, говорит, Генка прикатил без Дмитрия? Ну я и сказала ему,—Наталья от печи обернулась и говорила вроде бы винясь.—В субботу обязательно возворочусь, сказал.—И не утерпела. Отвернулась к печке, подняла фартук и стала им утирать слезы, говоря. — Так что вы уж покурите в избе, Геннадий Дмитриевич, покурите...

Тут Григорий Лишаков со своей Клавдией вошли в избу.

— Вот так, значит,—вместо приветствия сказал Григорий, а Клавдия торопливо перекрестилась и добавила:

— Царство тебе небесное, Митрий Константиныч...

Наталья уткнулась в фартук. Сквозь слезы проговорила:

— Проходите в горницу.

Пришли еще соседи: Петр Табаков с женой. И изба уже полная. Геннадий Дмитриевич рассказывал, как приехал отец. Как с Димкой они в шашки играли, как по го-

роду гуляли, на скульптуру оленя ходили смотреть, потом на реку, даже в ресторан «Бельсу» заходили пиво пить. Старик бодро выглядел.

— Бодро, бодро!—подтвердил Лишаков.—Силенок в нем еще было. Нынче мне на покосе помогал. А говорил, помню, когда лежал прошлой зимой в больнице, что у него картиграмма обнаружилась плохая. Сердце, как вроде, надорвано.

— Да вить, что же мы с ним собирались печь у меня перебрать, — вставил Петр.—Вот дед, а!—удивился он, как будто сосед его невесть что отчебучил.

Про то, что Наталью не известили о том, никто не заговаривал. А она на стол стала собирать, выставляла посуду, вилки, хлеб. Разлили в рюмки.

— Вот к баньке купила,—виновато сказала Наталья и провела рукой по косам,—и платка-то черного нету. Говорил, в субботу возворочусь, непременно. А вышло за упокой, Дмитрий Константинович.—Она посмотрела на фотографию над телевизором, и все поглядели. Молодо и строго из рамки глядели Оськины.

— Анна-то его, — сказала Клавдия, — тоже легко, от сердца же померла...

— Максим Завялов не знает, — сказал Лишаков.—Они же еще по гражданской знакомы, в Кузнецке в Чоне вместе были. Митрий все рассказывал, как они банду в Кузедееве кончали. Бывало, подопьет как, об чем бы ни говори, а он на свое, на одно поворотит...

Поминал, поминал покойный молодые годы. В Тополинск, на шахту, Оськин приехал из Кузнецка, демобилизованный по ранению. Приехал с женой Анной. Она в Кузнецке по нянькам жила. Случалось, и в Нардом с ребенком, она в няньках служила, прибегала. Дмитрий в буденовке ходил, портупея через плечо. Прослышал, в Тополиновке рудник открывается, дело новое, интересное. Он всегда решал один раз — и точка. Поцеловал Дмитрий Ан-

ну впервые однажды по вечерней темноте за церковью, когда они возвращались из Нардома.

— Я на шахты еду. Поедешь со мной? — спросил он девчонку.

— Поеду, — тоже решительная была. Надоело чужие пеленки стирать. С тем и порешили. И оказалась она говоруньей неумолчной, доброй хозяйкой, женой внимательной, чтобы ласковой шибко не скажешь, но всегда уважительной, всегда помощница, всегда рядом. Может быть, и хранила что свое, но таила, а может, и сразу привыкла к тому, что мужнино слово первое. Только в дому было заведено: так, как скажет отец, тому и быть. Раз только у них крупная размолвка вышла. Незадолго до того, как ей помереть.

Геннадий Дмитриевич приехал и объявил, что решил он от Галки своей уйти. Они там в Междуречье и жили. Дмитрий Константинович круто с сыном поговорил. Дескать, сводить вас никто не сводил, а вот теперь, когда двоих детей нарожали, оказывается, и не подходите друг другу.

Мать вступилась за Геннадия. Тут они и повздорили.

— Не любит она его, понимаешь?—внушала мужу Анна, когда они вечером сидели на крылечке. Летние вечера всегда так проводили. До темна до самого, после дел всех, сядут на верхнюю ступеньку и сидят. Дмитрий Константинович курит, Анна разговоры ведет.

— Жалко мне его. Чем с нелюбовью маяться, так уж лучше и совсем одному.

— Это что же за штука такая, любовь, по-твоему? — спросил Дмитрий Константинович. — Распустились вот и все тут. Мается. А дети при чем? Вот ты с утра до вечера топчешься по хозяйству, и про любовь думать некогда. А может, тоже маешься?

— А чего про нее думать, про любовь? На ней душа человеческая и держится, — сказала Анна. Сказала как-то жалостливо. Не на судьбу в оглядке, а вроде, как неудер-

жанный вздох, что стеснение в груди облегчает, вырвался. — Голова да сердце, бывает, не в ладу живут. В церкву я тут ходила, ты уж не серчай, — продолжала Анна. — С Никитичной ходили. Поплакали, об Геночке бога просила. Может, и пособит. Ладу бы в его жизни надо. Ладу бы...

Видать, дошли материны молитвы до бога. Геннадий Дмитриевич по-прежнему живет со своей Галиной. Мать уже давно похоронили, и отца вот в чужом городе зарыли в землю.

Лишаков все-таки спросил:

— А что, Гена, отца-то бы сюда привезть. С матерью бы рядом положить? — И все на Наталью посмотрели. А она на всех и опустила голову виновато. А Геннадий Дмитриевич сказал:

— Юлька, сестра не захотела. Мы ее телеграммой вызвали. В Тополинске, говорит, никого наших не осталось. А у нас хоть будет кому на могилку сходить...

Замолчали за столом. Клавдия Лишакова поднялась. Встал и Григорий, за ним и другие соседи. Клавдия вдруг обняла Наталью, и заплакали они навзрыд, громко, как только бабы и умеют плакать. Остальные же вышли из избы. На крыльце Григорий поинтересовался:

— Дом-то неуж этой вертихвостке?

— Это еще с каких калачей? — удивился Геннадий Дмитриевич. — Она, можно сказать, его в гроб вогнала. Да лучше спалить. Я вот и приехал по этому делу.

— И то правильно, — Григорий понимающе покачал головой. — Ей что, дело молодое, завтра хахаля приведет. Мало их у нее тут.

— И как старик такое учудил? — то ли удивился, то ли спросил Геннадий Дмитриевич.

— А это у них с прошлой зимы началось. Он тогда в больнице, помнишь, лежал долго. — Григорий полез в карман за папиросой. — А она тут приглядывала по хозяйству.

...Было так. Весь январь Дмитрий Константинович про-

был в больнице. Перед тем, как лечь, упросил он соседскую квартирантку Наталью, молодую, лет сорока, шуструю толстушку, похозяйничать без него. Работала она уборщицей в местном магазине. Говорят, была замужем. А по нынешним временам жила эта рыжая с косой вокруг головы, на лицо симпатичная бабенка в свое удовольствие. Рассказывали, что и выпить не пропустит, и мужиков уж на всех трех Родниковых перебаламутила.

В обиходе же была она проста и обходительна, за что старики, хозяева ее, очень уважали. Они-то и надоумили Дмитрия Константиновича попросить ее доглядеть по дому.

Несколько раз с передачей в больницу приходила, домашней еды приносила. Хозяйство она вела исправно. Блюла в избе чистоту.

Во всем этом убедился Дмитрий Константинович, когда из больницы выписался. Наталья в тот вечер и ужин сготовила. Нажарила картошки, достала огурцов из подпола. От денег за работу отказалась. Мол, самому пригодятся, а за бутылкой, за красненьким, сходила. Константиныч полстакана и выпил. Он уж давно себя удерживать стал. А Наталья весело предупредила:

— Ты мне, Константиныч, уж цельный наливай. И так жизнь половинчатая!

Была она в коричневом безрукавом платье, с лица светлая, румяная, головка аккуратная, все будто клонится на длинной шее...

— И то правда, Наталья... — сказал Дмитрий Константинович, — ты все в балахоне этом своем на людях, а поглядеть — баба ты ягодка...

— Только рыжая! — весело рассмеялась та, поднимая стакан.

— Ну что, что рыжая. Зато сердечная и вся справная, а жизни, верно, нету...

— Не скажи, Константиныч, не скажи. От мужиков, что ли, не знаешь, не пройтить. Да взять, и сосед твой

Петька, — смеется Наталья. — За твое выздоровление и с возвращением! — Медленно она выпила стакан, степенно на стол поставила. Взяла вилку, наколола на нее кусочек огурца.

— Веселая ты, — Константиныч с удовольствием ел картошку. — Заскучал по домашнему вареву. От научной диеты кишки чуть не слиплись. — И неожиданно, без перехода, видимо, много думал об этом, сказал: — Генка в последний раз писал. Хватит, говорит, людей смешить и нас позорить. Приеду и заберу. Целую комнату обещает отдать. У него палаты большие и этаж низкий — второй... Избу продадим, деньги, говорит, на твою книжку положим, нам они без надобности. Рассудил все как есть...

Дмитрий Константинович снова налил в стаканы.

— И верно, Константиныч, чего тебе бобыльничать? Был бы сирота. А то ведь и внуки есть, — заметила Наталья. — Хоть ты и с виду, конечно, еще справный, но одному-то сладко ли? Как вот она завоет, заметет, а?

Константиныч ладонью пригладил волосы. Они у него белые-белые, но густые, так торчком и торчат, как и в детстве.

— Оно, соседушка, не нами придумано-отмеряно. У всякого своя радость. Генке тому машину надо. Юлька с зятем в заграницу собирается. А у тебя опять радость, Петькиной Вальке досадить. Она бабенка, верно, злая, но уж ты бы ее пожалела, ведь трое же у них...

— Да на кой ляд он мне, ваш Петька, сдался, горе мое, — у Натальи от гнева даже слезы выступили и по округлости щек румянец пошел. — Да я же его дальше порога и не пускала никогда, а вот за то, что она на всю улицу меня позорит, этого я ей не спущу, повоет она у меня. Коли я одна и слова некому сказать, так значит и вали все, что ни попало? Да я, может, чище их—замужних. Был у меня такой свой Петька, в один миг рассчитала... Ох, и липучие вы, собачье племя, мужики! — рассмеялась Наталья, и гнева как не бывало. — Хирург ваш-то! Образо-

ванный, при жене — и туда же... Может, во мне и впрямь сладость особая?

Наталья распалилась, смеется весело, голос напевный и вдруг умолкла. Склонила голову, долго смотрела на скатерку и, точно разглядев что-то, провела по ней ладошкой, будто вытирая, а потом рукой как все равно паутину отвела с лица, улыбнулась себе, откинула назад свою рыжекосую голову и Константинычу с улыбкой:

— В голове шумит. Давай песни петь, а? — И тихонько завела: «Что стоишь качаясь, горькая рябина...»

Подпевал и Дмитрий Константинович, смолоду он был не мастак на песни, поэтому шибко не выпячивался, так басил потихоньку, что называется, за компанию.

Затявкала Жучка, потом приветливо завизжала, кто-то громко потолкался на крыльце и вот позади белого клуба, закрутившегося в открытых дверях, скалился широкоплечий мужчина в фуфайке и без шапки.

— С возвращением, Константиныч, — обрадованно зашумел он. — Я своей говорю, у деда следы вроде как мужские во дворе видать, не иначе оклемался наш сосед, не помер еще, — визгливо хохотнул мужчина, прошел и сел прямо к столу, — она и говорит, — а может, это твоя сучка кобеля привела. Это, Наташка, про тебя, значит, — он опять весело взвизгнул. — Ох и стервы же вы друг на дружку, бабы...

— Ты тоже хорош гусь, — Наталья сказала без обиды, — я вот ей, твоей дорогой, еще косы расчешу... Ладно, скидавай свою фуфайку, садись к столу. — Она встала. Около печки, в простенке висел посудный шкафчик, Наталья достала стакан, вилку. Поставила все это перед гостем.

— Ну спасибочки! — развеселился совсем Петр. — Спасибочки! Ну, наливай.

Жучка вновь гавкнула, потом завизжала, и на этот раз вместе с белесыми всполохами морозного воздуха в избу вскочила маленькая женская фигурка.

— Сбежались, голубчики? — не поздоровавшись, спросила она.

— Здравствуй, соседка! — поднялся из-за стола Константиныч. Высокий, худощавый, он вовсе подпирал потолок. — Проходи, гостьей будешь, — и захромал навстречу. Избы-то всей было шага три...

— Нет уж, спасибочка, гостите сами. А ты, кобель, домой не показывайся! — последние слова она прокричала, уже открыв дверь. Потом хлопнула ею так, что даже закачалась лампа над столом. И долго еще по полу тянуло холодом, остужая начавшееся было веселье.

— Ну, Петька, — только и посочувствовал хозяин, доставая пачку «Примы».

— И мне пора, Константиныч, спасибо за хлеб-соль, — поднялась Наталья. Она стала собирать со стола.

— Оставь, чего уж, — Дмитрий Константинович тоже встал, — поди не без рук, — и он, припадая на правую ногу, захромал вокруг стола. — И так тебе спасибо, в избе-то хоть живым пахнет.

— Да сядь ты, сядь! — Наталья взяла его за плечи и усадила на свое место. Руки ее всего и момент один прикоснулись, а Дмитрий Константинович сквозь рубаху почуял их непривычное тепло и ласковую мягкость. Все это и происходило-то незаметную минутку, но обдало Константиныча жаром внутри. А Наталья уже поставила на стол большую чашку, из чайника плеснула кипятку, почерпнула ковшиком из бачка холодной, вылила опять в чашку воду и принялась мыть посуду. Все у нее выходило складно, быстро, а она еще и приговаривала:

— Не надсадилась, поди. По-соседски как не помочь. А ты, Константиныч, и правда езжал бы к сыну. Он у тебя хороший, сноха ученая и обходительная. В магазине я приметила, обходительного человека всегда видно. «У нас, — она говорит, — папаша только индийский чай любит...» Да и то сказать — семья, она и есть семья...

Потом повернулась резко так, платье туго на высокой груди натянулось, засмеялась:

— Пошли, кавалер? — это она Петру. — Или женушку испугаешься?

— Чего это я пугаться буду? — бодрился тот, — правда, я без шапки.

— А тебе Константиныч даст. Найдется старенькая, Константиныч? — на лице ее улыбка. Говорит, а глаза с Петра не сводит. И словно разговор от них, от этих глаз, идет, слова не те, что Наталья вслух произносит, а другие — бесстыжие и ласковые. На Петра Константинычу и глядеть страшно стало. А Наталья уж в свою фуфайку облачилась. Тут Дмитрий Константинович чего-то спохватился.

— Погоди-ка, соседушка, сей секунд. — Он прохромал в горницу, там загремел ящик комода.

— Вот! — Вернувшись к гостям, показал он большой черный, с розами шерстяной платок. — Тебе, Наташа, возьми. Его Анна всего ничего и носила. Моим девкам без надобности, немодный, а чего ему лежать. Возьми, примерь-ка. Примерь. — Он с такой настойчивостью упрашивал, как будто боялся отказа. Наталья даже слова против не сказала. Движением привычным и быстрым она накинула платок на голову, туго обернув один конец вокруг шеи и молча повернулась к Константинычу. Серьезно, чуть ли не строго глядела. Куда и игривость, и смешливость пропала. Случается такое, неожиданно, на минутку раскроется человек, и покажет нежданно всю ясность и красоту свою.

— Ну и носи на здоровье, — сказал Константиныч. — А ты, Петр, и впрямь надень мой треух, завтра занесешь. — Он показал рукой на вешалку. — Не ровен час и уши отморозишь.

Стоял сосед Григорий с Геннадием на крыльце. Григорий оглянулся с опаской на дверь. Они остались вдвоем,

Табаковы ушли, и доверительно вполголоса, почти шепотом заговорил:

— Это у них, Дмитрич, зимой и случилось.

Геннадию Дмитриевичу стало не по себе. Вспомнился ему последний приезд и разговор с отцом, припомнилось и то, что ни в какой командировке зимой он не был. Просто не знал об отцовской болезни. Переписываться они не привыкли, так открытки к празднику жена посылала, а тут чего-то у них самих дома не ладилось и, видно, забыли. Обидным и за себя, а больше всего за память о матери считал он стариковскую блажь. Они строили вдвоем этот дом, прожили в нем всю жизнь и на тебе! Он, Геннадий, зовет же отца к себе, комнату отдельную отдает, на худой конец квартиру разменять можно, на его четырехкомнатную охотников всегда найдется. И на что сдалась отцу эта бабенка? Эта вертлявая толстушка на целых два года моложе сестры Юльки.

...Дом Дмитрий Константинович построил тогда, когда рядом еще ни одного соседа не было. И будили его с Анной летом по утру птичьи голоса, а зимой метелицы... Они с женой сами выбирали это место, в ту пору, километрах в пяти от города и шахты. Сюда по ягоду ходили, косили вокруг траву. И не пугало, что до шахты далековато, зато привольно. Ребятишки, как зверята, круглый год на выпасах. Пили воду из родников, объедались саранками, пучками, мешками колбу таскали. Генка с малолетства вместе с отцом на зайца да лисиц охотился. Кузнецкие родственники, приезжавшие летом, откушавши Нюшиной рябиновой настойки, громко и от души всегда хвалили стол и место жительства, но обязательно выговаривали за отдаленность.

Теперь этот дом самый старый на Родниковой улице. Их, к слову, уже целых три Родниковых-то. Дома по логам и вверх по горе огромные, кирпичные многие, с полуподвалами, с мезонинами. Шахтеры основательно ставят дома. А дом Оськиных, что у самого подножья сейчас уже

высокого перепаханного бугра, будто от бугра этого цвет перенял, так его бревна потемнели, да и к земле пригнулся когда-то высокой крышей, и его два небольшие окна смотрят в улицу из-за потрескавшихся наличников.

Уж после того, как дочь Юлька вышла замуж и уехала, надумали вдруг Константиныч с Анной за земляникой сходить. Им пришлось идти через лог, застроенный домами, потом через вырубленную, перепаханную рощу, спускаться к дальнему перелеску. До ягодников так и не дошли. Устали. Посидели около родника, он теперь как раз над дорогой оказался, что по косогору легла, и возвратились домой...

...А сейчас на крыльце старого дома Лишаков все дымил папиросой и все в подробности отцовской женитьбы Геннадия Дмитриевича посвящал:

— Ты же ее тоже, может, знаешь? Она уж лет как пять у нас проживает. Бабенка, видишь, складная, ну вертихвостка, одним словом. Видать, приметила себе на уме, что старик долго не протянет, и повадилась постирать да прибрать... Глядь и вовсе перебралась в избу.

— Ты, — говорил я, — соседушка, никак спятил? Оберет как липку, да еще и самого выгонит, на кой она тебе ляд, когда ты уж и не мужик вовсе?

Это я его аккурат после сенокоса тем летом спрашивал. Он мне сено помогал косить. Ну, когда за столом-то сидим опосля, я и говорю:

— Неуж сила в тебе мужицкая такую-то бабу иметь? И знаешь, что он объявил? Все ж он, должно быть, уж и тогда маленько на голову слабел? Мы, говорит, вчера по ягоду с Наташей — это с ней, значит, — показал через плечо на дверь Лишаков, — ходили, — а верно, потому что пришел я его позвать, а во дворе одна Жучка. Еще подумал — куда его унесло. То с утра все стучал топором. Видал, дом-то как обновил, вроде сто лет жить собирался? Вот и говорит — ходили мы по ягоду. А это, знаешь, теперь где? Аж во втором перелеске, может, помнишь? —

спросил у Геннадия Лишаков, — Константиныч и говорит, прошли за пашни, а там опять бугры зеленые да березы и земляника-ягода. А сам смеется весело, думаю, от бражки, может, охмелел, а он и чудно говорит. Я, говорит, вот последнее время все смерти боялся. Не того, что в землю закопают, а думал, зачем же мне эта пустота? А пустота, оказывается, просто во мне внутри жила. Ну, а теперь вот и не жалко помирать. Это как, говорит, на покосе. Понял? Из кринки напьешься досыта, аж по лицу потечет, радостно, все пил бы и пил.

А Геннадий Дмитриевич думал о том, что совсем об отце, о его жизни не знал он ничего. Не знал и не узнает никогда о том, как сошелся старик с этой молодайкой. Да, собственно, зачем ему все это, удивляется Геннадий Дмитриевич: отчего бы соседу Григорию помнить? Будто знал, что пригодится ему все это.

— А вообще-то отец твой мужик был мировой, уважал его народ. Очень уважал... — продолжает Лишаков.

...После болезни повадился ходить к соседям Дмитрий Константинович и однажды застал он у стариков Наталью, которая там квартировала, одну. Вошел, когда она пол мыла босиком, в коротком розовом старом платьице. Наталья не разогнулась, думала, кто из хозяев. Когда заметила, пружинно выпрямилась, тряпка в одной руке, другой лицо отерла и платьишко стала одергивать. В шейный вырез сунула палец и кверху материю потянула, но ложбинку глубокую, розоватую не прикрыла. Сильнее надулось на груди, на боках кругло натянулось платье. Засовестилась.

— Чего же ты, Константиныч, молчком?

В платье этом ну прямо девка молодая и краска в лице от растерянности.

— Проходи уж, проходи, подотру, — пригласила, когда Дмитрий Константинович за дверную ручку взялся. — Посиди со мной, поговори. Аль тоже боишься? — засмея-

лась. — Не бойся! Давай-ка лучше сигаретку выкурим, пока моих нет. При них-то прячусь, бабка не любит. Она у меня совсем обезручела, — сокрушалась Наталья как о родной. — Вчера уже и парила ее, и жиром растирала, а сегодня куда-то за мазью уплелась, добрая она, все доченька, да доченька...

— Так-то и будешь по домам всю жизнь? — спросил Дмитрий Константинович. Он осторожно прошел от порога и присел на подставленную Натальей табуретку, которую та предварительно рукой стерла.

— А чего мне? — Наталья присела напротив Дмитрия Константиновича на сундук и густо выпускала изо рта дым. — Птица вольная.

— Сорока вон тоже вольная птица.

— По мне лучше уж сорокой. Сосед твой все синичек ловит да по рублю за штуку продает, на бутылку всегда набирает, а сорок-то не ловят и не продают!

— А как же ты все ж без мужика в такой поре живешь, Наталья?

— Почто это так? Вон, на любой Родниковой, у всякой собаки спроси и та знает про моих мужиков.

— Я про другое, — Дмитрий Константинович сидел, опершись на палку. — На улице чего не наговорят. Слышал даже, будто ты Марье недостачу сделала.

— Почему это будто? Ей тащи сколько влезет, обсчитывай, а другим нельзя? — обозлилась. — У меня все на глазах.

— Да брось ты на себя наговаривать. И чего собираешь...

— Я так ей и сказала, выведу я тебя на чистую воду. Сама сяду, а тебя выведу. Она Куркину девчонку на двадцать копеек обмишурила и глазом не повела. Девчонку дома выпороли, а она, стерва, в золоте ходит.

— Из-за чего ж ты вся такая колючая, а? — все любопытствовал Дмитрий Константинович, — и с бабами со все-

ми переругалась, и уж горда очень. Поди, и мужик-то из-за этого бросил?

— Ты бы лучше, Константиныч, про сороку рассказал, — Наталья вдруг рассердилась. — Ну чего пристал? Я тебе подследственная? Допрос снимешь? Живу как хочу. — И тихо добавила: — Жизнь как выйдет, так уж и не отвернешь. Сворotков, может, и много, а где он твой, попробуй угадай.

— Я что пришел, — вдруг сказал Дмитрий Константинович, — зашла бы когда поубрать в избе, постирать, заплатил бы. Сам, что ни говори, не то дело.

— И мужиком, Константиныч, ты кажешься самостоятельным, а совсем, как Петро, чушь несешь. На кой ляд мне твоя плата? — Открыла печку, бросила в нее недокуренную сигарету. — Приду как-нибудь. Подсоблю. — И поинтересовалась: — сын-то пишет? Занятой он больно у тебя, ох уж и занятой...

...После того разговора, когда Дмитрий Константинович пригласил Наталью помочь по делу, она только через неделю собралась. Дмитрий Константинович, видимо, не ждал. Растерялся, стал извиняться, отговариваться, дескать и сам он со всем управляется, пошутил тогда, много ли старику надо. Однако Наталья послала его топить баню, воды греть для стирки, а сама в это время принялась за уборку избы.

Часа через три уже белье вывесила. Веревку натягивали они вместе, сама же за прищепками к Лишаковым сходила, у Дмитрия Константиновича растерялись все. Ужин тоже Наталья готовила. Долго ли картошку нажарить, а уходя наказала, чтобы купил прищепки, чего это по людям ходить.

И в другой раз пришла. И опять они ужинали вдвоем. Дмитрий Константинович вспоминал свою жизнь, как с покойницей дом ставили. На шахте все говорили: и чего в глухомань залазить, а он на своем настоял. Гляди теперь — глухомань. Почитай, все его бригадники, с кото-

рыми работал, сейчас на Родниковых живут. Воздух—приволье и до города три остановки по асфальту. Так и стала она заходить к нему. Вечером одним Дмитрий Константинович спохватился:

— Что-то я, Наталья, тебе табачку-то не предлагаю, ты уж не стесняйся, закуривай. — Это когда он закурил, а она убирала со стола. — А то, вроде, ты меня, как своей бабки, стесняешься.

Наталья засмеялась:

— Да я вовсе и не курю, Константиныч, это так, с горя да со злости, — и радостно добавила: — А Марью утихомирила я все ж. Ребятишек не обсчитывает теперь. Ну баб да пьяных — черт с ней, а вот ребятишек — угомонилась.— Она засмеялась.

Засмеялся и Дмитрий Константинович. Весело ему бывало в те дни, когда в доме объявлялась Наталья. Шума много становилось в его тихой избе и потом, когда ночью вставал он курить, давно уж у него эта привычка появилась, все еще в шорохах ему слышалось веселое эхо.

...Геннадий Дмитриевич воротился в избу, когда Григорий ушел. Наталья сидела за столом в горнице, на ней был черный с красными розами платок.

— Материн, — узнал Геннадий Дмитриевич, и неприязнь к этой толстозадой молодухе с большей силой вскипела в нем.

— Я ведь всего на несколько часов, — никак не называя ее, заговорил он. — Автобус у меня в пять. А еще тут дел разных. — Он сел. — Надо бы бумаги поглядеть, думаю, вы понимаете, дело в том, что еще успеть к нотариусу...

Наталья подняла голову, посмотрела в глаза Геннадию Дмитриевичу, и как она ни была ему неприятна, не сумел он не отметить хоть и с ненавистью красивость ее лица. От этого он еще больше ожесточился. Припомнился последний разговор с отцом, В Междуреченске уже.

— Ты все старик, старик, — выговаривал Дмитрий

Константинович, когда они с сыном вышли на балкон покурить. В доме Оськина-младшего курить было не принято. — Действительно, годы не паспорт, их не потеряешь. И хочу я, чтобы ты знал, что вроде как бедою мы сошлись. Ей, беде, что старый, что молодой. Было их две беды, две разные, а теперь счастьем одним обернулись. Поначалу даже боязно было. Думаю, не от корысти ли от какой пошла? А душу-то разглядел когда, и она у нее как у малой дитятки незамутненная, незапятненная паскудством и срамотою. Мне теперь и помирать ровно не боязно. Не один я. В памяти ее буду жить. Любим мы, сынок, друг друга. Может и осудишь, тебя я тоже понимаю. Мать-покойница твоя хорошая женщина была. И врать не стану, без обмана и без упреков мы с ней век прожили. А вот волнения, — старик кулаком по груди постучал, — никогда не было. «Покойно мне с тобой» — все она говорила. Думал я, так и должно быть...

— Как же так, Геннадий Дмитриевич, — не утерпела больше Наталья, вырвалась боль и в горе слезами брызнула. — Ведь не чужая я ему-то была. — Сказала и испуганно ладошкой рот прикрыла. Однако собралась с мыслями. — Как же такое смогли вы? — И протянула руку за папиросой, Геннадий Дмитриевич пачку на стол положил.

Геннадий Дмитриевич поглядел на Наталью сдержанно, потому что раздражение в нем уже злостью кипятилось.

— Сами понимаете, что старик уж, можно сказать, был не в себе, поэтому суд полностью будет на нашей стороне. Мало ли у него было сожительниц.

Наталья подняла голову. Наверно, в молодости Константиныч был такой же. Суровый, резкий. Сын очень на отца похож.

— Что вы, Геннадий Дмитриевич, какие у него сожительницы! Да он же такой человек, он знаете какой чело-

век? — Горе в воспоминании, видно, чуть загородилось, вот и вышло облегчение улыбкой, быстрой и неуместной, оттого виноватой, и сразу же она пропала. — Самостоятельный человек, серьезный, — повторяет Наталья, — и не сожительница я ему, — заявила она, — а жена. — И твердо так повторила: — жена была... — и укрыла лицо черным платком с красными розами.

И могла бы вспомнить, если бы была в силах, как в самом начале апреля сломала она, Наталья, ногу. Разгружали ящики в магазине, она поскользнулась и упала, а ящик и придавил. Благо больница рядом.

Дмитрий Константинович пришел на третий день к ней в палату. Вставать она не могла, нога привешана была к железяке — вытягивали кость. И она впервые заметила, какой он высокий, стройный и красивый. Она так и сказала ему, когда первая минута неловкости прошла:

— Ты, Константиныч, как доктор прямо. Солидный, красивый. Только что не щупаешь. — Все в палате засмеялись, а Дмитрий Константинович смутился. И от смущения его и оттого, что не знал, куда банку с вареньем поставить, вовсе развеселилась Наталья и болтала без умолку, а вся палата так хохотала, что заглянула даже дежурная сестра и предупредила:

— Кончайте концерт, не в клубе находитесь.

До конца месяца Наталья пролежала в больнце. Перед самой ее выпиской Дмитрий Константинович, а он носил передачи через день, наклонившись к подушке, чтоб никто не услышал, прошептал:

— Наташа, чего тебе у стариков делать, шла бы ко мне жить? Не все ли тебе, где?

Наталья перед этим только сетовала, что неудобно ей перед бабкой будет, все ж человек она чужой, а по дому делать ничего не сможет еще. Нога-то в гипсе. Но такой оборот дела прямо огорошил ее.

— Как же мне тебя понимать, Константиныч? — со слезами в голосе спросила она, — я к тебе, как к родне, мож-

но сказать, а ты вон как поворачиваешь. Что же ты, в полюбовницы надумал взять? — Тут уж совсем разозлилась. — А вдруг не справишься?

— Да как у тебя язык поворачивается, Наталья? — зашипел Константиныч. — Видать, полюбил я тебя.

— Да за что? — Наталья только рукой махнула, дескать уйди. Весь день и проплакала.

...Дмитрий Константинович пришел за Натальей в больницу. Отвел ее к старикам, а назавтра пришел с поллитрой, сели за стол и объявил, что просит он Наталью Никитичну выйти за него замуж. Когда он осторожно, нога-то не гнется, вел ее по улице к дому, все соседи высыпали. И стыдно, и горько, и радостно было Наталье. Она поднялась быстро, хозяйкой оказалась умелой, а с работы Дмитрий Константинович ее рассчитал. Зашел к ним однажды выпивший Петро, посидел, покурил, что-то про жизнь молодую спросил, но выставила его Наталья, Дмитрий Константинович и слова сказать не успел.

Соседи судили, рядили, ее осуждали, его жалели, словом, по-соседски перемывали им косточки. А Наталья, не обращая на все это внимания, лаской да шуткой обходилась со всеми. Она и сама не умела объяснить, отчего согласилась перейти жить к Дмитрию Константиновичу, что-то толкнуло ее к нему, каким-то незнакомым праздником поманил и не обманул, не разочаровал, а понес поперек молвы и хулы вместе с ней обиды и горечи, и забылись они в его сдержанной ласке, в его удивлении ею...

Ах, как она не соглашалась, уговаривала, но Дмитрий Константинович все-таки настоял на своем, и они сходили в ЗАГС, купили кольца, созвали соседей.

И пили соседи вино, и кричали «горько», а они улыбались. Она любила слушать его тихие слова, уложив голову на его плечо, когда они весенними вечерами после дневной работы сидели на крыльце. Днем они обшивали заново дом.

— Будет он у нас с тобой как игрушка, — говорил Дмитрий Константинович.

А еще он придумал сходить за рябиной. Объявил вечером. На крыльце сидели. Руку протянул к старому дереву. Чему-то засмеялся. Потом объявил:

— Надо бы и другое посадить — рябинку, а? Завтра и сходим. Вроде выходного у нас выйдет. — Они долго шли через лог, поднимались в гору, опускались опять в лог, пока не пришли в перелесок, где чуть ли не до самых белых весенних облаков тянулись к небу красноствольные деревья.

Дмитрий Константинович облюбовал прутик росточком чуть повыше его, аккуратно, не повредить бы корни, выкопал, и обратную дорогу они несли его по очереди. Отдыхали, напившись воды из родника над дорогой, который так и бежит с незапамятных времен.

Геннадий Дмитриевич приехал с семьей на другой день после того, как они посадили деревце. Тогда-то в первый раз у них и вышел крупный разговор с отцом.

...— Мне, Геннадий Дмитриевич, ничего не надо. Вы и не думайте, я сегодня и уйду, — говорит Наталья, утирая концом платка глаза. — Вот если разрешите, платок возьму, память о нем... если разрешите. А вы его не знаете. Полюбовницы. Он строгости душевной был.

— Надо дарственную написать вам, — решился, наконец, объявил Наталье Геннадий Дмитриевич то, ради чего, собственно, он и приехал. — Отец завещание на вас оставил. — Ему совсем уже надоела эта бабенка, и время торопило.

— Какое завещание? Да я не умею, — Наталья непонимающе смотрела на него, — сказала же я вам. Делайте что надо. Я хоть сегодня уйду.

— Я заготовил, — Геннадий Дмитриевич положил на стол бумагу, — только надо вам к нотариусу сходить.

— Схожу, конечно, только бы не сегодня? — умоляюще поглядела на него Наталья. — Я совсем что-то не мо-

гу, — она было улыбнулась, но губы только искривились, глаза сузились, и все лицо некрасиво изломалось.

— Конечно, конечно, — Геннадию Дмитриевичу это явно было не по душе, но настаивать он не решился. — Вот и все, и мне, правду сказать, пора.

Наталья вышла вслед за ним на крыльцо. Геннадий Дмитриевич шел быстро, твердо и хоть не хромал, а было в его стати что-то от отца.

...В конце зимы Геннадий Дмитриевич купил машину. Деньги от продажи дома они поделили с сестрой, и две тысячи, пришедшиеся на его долю, оказались к месту. Выехал он первый раз, когда совсем уже все высохло. Прокатил свое семейство по городу, потом через Усу в Ольжерас, доехали до Распадской. Домой вернулись веселые и счастливые. Он долго оставался в гараже, а когда поздно вечером ужинали, жена ему сказала:

— Знаешь, ведь завтра родительский день?

— Откуда ты взяла? — удивился Геннадий Дмитриевич. Религиозные праздники у них в доме не отмечались.

— Михайловна, соседка, сказала. Надо бы к отцу съездить. Ни разу ведь не были...

Отцовскую могилку нашли не сразу. Прибавилось около нее, затеснили. Подошли к оградке. Помешкали, прежде чем открыть калитку. Вошли. Геннадий Дмитриевич глядел на потускневший отцовский портрет, и тот, чьи черты хранила эмалированная пластинка, виделся совсем чужим.

— Когда ты посадил? — жена указала пальцем на тонкий безлистный прутик, торчавший справа у входа, у самой калитки.

— Я? — удивился Геннадий Дмитриевич. Он даже не заметил серую веточку. — Я? Нет, это не я. Это, наверное, она, Наталья, — Геннадий Дмитриевич впервые назвал имя женщины, и оно теперь наразрывно стало с именем отца, хотелось бы того сыну или нет.

У Геннадия Дмитриевича задрожало внутри. Так слу-

чается от неожиданного оклика на дороге. Идешь и вдруг слышишь, позвали. Оглянешься и увидишь очень дорогого, только совсем покинутого тобою человека.

И поднялась обидой в душе Геннадия Дмитриевича досадная признательность к чужой женщине. Но больше всего язвило от сознания своей непоправимой вины перед отцом и еще от стыдливой нежданной зависти к нему — покойнику — за пережитую на земле такую женскую верность.

К горлу тоской поднялась жалость уже к себе. Геннадий Дмитриевич по-иному совсем всматривается в отцовский портрет на железной пирамидке и другой, непохожей на всю прежнюю замерещилась ему его дальнейшая жизнь. А над могилой и над еще не разродившейся зеленью землей бился сизым трепетом день...

У «ДОБРОГО ПУТИ»

1.

— Никого нет у «Доброго пути»? — спрашивает кондукторша, когда автобус, сбавляя скорость, приближается к очередной остановке, обозначенной на бетонной доске литой чугунной вязью слов: «Доброго пути».

— Поехали, Толя! — громко, через весь автобус со своего сиденья обращается она к шоферу. И затем лишь, что молчать, видимо, она не любит, уже вполголоса ворчит: — Теперь тут редкий сойдет. Летом, тогда прут. Людям по делам не уехать. А они все на речку. Вроде и не работают, что ли? Набьется, что тебе селедок в бочке, с гитарами, им хоть бы что. А людям по делу не уехать, и за проезд с них выбей-ка...

Будничный предвечерний рейс. Пассажиры в проходе не толпятся, маршрут загородный, всякий занят своими мыслями, некоторые пассажиры тихо переговариваются.

Автобус, прокатив немного за «Добрый путь», неожиданно остановился возле стоящего на обочине «Запорожца» с открытым мотором, в котором копается водитель.

— Чего это? — удивляется кондукторша. — Чего их тут подбирать, ездют, торопятся, — ворчит она, а в это время в проеме передней двери показалась малюсенькая, в голубом плюшевом пальто с капюшоном девчушка и следом за ней женщина. Роста небольшого, в пальто, простоволосая. Садится на одиночное сиденье, что у самой двери, берет девочку на колени, при этом резким движением головы пытается откинуть с лица густые пряди прямых волос, и всякий раз, когда она это делает, на мгновение открывается ее большебровый лоб.

— Здравствуй, Толя! Ну и встреча! — явно чувствуя неловкость, растерянно удивляется женщина, когда, наконец, устроившись поудобнее, она уже спокойно отводит со щеки волосы.

— Здравствуй, — шофер не оглядывается, пристально всматриваясь в дорогу. — Как живется? — после некоторого молчания спрашивает он, все не спуская глаз с дороги.

— А чего нам? — женщина проводит рукой по детской головке, но капюшон не снимает. — Чего нам сделается? Я сейчас, Толя в отпуске. В яслах карантин. Мы в Кузнецк к тетке ездили, хотели быстрей добраться, вот и прицепились к частнику, а он возьми да и сломайся, — она тоненько хохотнула. — Возле «Доброго пути» возьми и стань... Думала, что до ночи сидеть, а тут вот ты. Теперь на этом рейсе, да? А я с Танюшкой. Хотела было к матери в Свердловск отвезти, а потом раздумала. Попрошу отпуск, решила, погода хорошая, а мне по графику все равно в ноябре, какая разница — сентябрь, ноябрь? Начальник и правда без слов подписал. Вот мы и катаемся.

На одном дыхании все это выпалила женщина. Растерянная улыбка так и не сходила с ее лица. А шофер внимательно глядел вперед.

— Соседка поутихла? — спросил он.

— Давно! — обрадованно сообщила женщина. — Мы уж теперь и дружим. Она с Танюшкой другой раз остается.

Девочка, видимо, устала. Она трет кулачками глаза, нос, раз-другой всхлипывает. Женщина забеспокоилась. Прижала ее к груди, склонив над ней голову, будто закрыла от стороннего глаза. Тихонько заприговаривала: — Баю-баю-бай, спи, скоро-скоро будем дома...

— Не болеет? — спросил шофер.

— Толя! — окликнула его кондукторша, — не будем заезжать в столовку. Лучше быстрей назад. Все равно выручке не бывать сегодня...

— А когда у вас обед, Толик? — спросила женщина, и ему, видимо, тоже передалось ее смущение. Он впервые обернулся.

— Вообще-то в девять. Но кто тут режим соблюдает...

— Зинка-то как? — спросила женщина, просто спросила, но знала, что обоим им этот вопрос не очень по душе, а не спросить она не могла.

— А что ей сделается? В четверг пересменок, картошку поедем к теще копать. Зинка, она и есть Зинка. Так и не унимается.

Она сочувствует:

— Картошку-то давно пора копать, мы с соседкой уже убрали. Тридцать ведер я накопала, прямо, как поросята, такая картошка.

Девочка уснула. Умолкла и женщина.

— Ты нас у того дома высади, Толя, — обращается она к шоферу, явно делая над собой усилие, прежде чем произнести его имя.

— Посидели бы, куда спешить? Раз в отпуске, — говорит шофер, не поворачивая головы. — На последнем рейсе бы и добросил до дома.

— Что ты? — пугается женщина. — И так уж запоздала. Давно спать нам пора. Ты высади. Сейчас «восьмер-

ка» с шахты пойдет, вот мы к самому дому и подкатим... Уснула... — улыбается она, глядя на дочку, — намаялась. Не любит одеваться и все. Так бы голышом целый день... — она смеется.

Автобус притормаживает. Женщина медленно, осторожно спускается на землю. Ей тяжело и неловко со спящей девочкой на руках. Шофер глядит в зеркальный отражатель. Женщина кивает ему. Кивает и он, руки у него лежат на руле. Автобус трогается. И, мигнув красным огоньком, исчезает.

Нести спящую девочку трудно. Женщина останавливается, перекладывает свою ношу с одной руки на другую. Девочка во сне громко вздыхает. Женщина идет по проулку между маленькими домиками. Им надо выйти к другому шоссе, которое ведет с шахты в поселок. На остановке стоят несколько ожидающих. Женщина обрадовалась: значит, автобус не прошел. Она снова перекладывает девочку и вместе со всеми выжидательно смотрит в темноту.

— Смолина, ты откуда? — окликает ее женщина с огромной хозяйственной сумкой в руках. Это напарница по смене в ламповой. — Как отдыхаешь? Спит, уморилась? Я вот в город ездила, выходная, по магазинам пробежала.

— А мы в Кузнецк к тетке ездили, — объяснила Смолина.

— А у тебя там тетка? — удивилась женщина.

— Двоюродная! — Смолина осторожно подкинула девочку, перехватила руками. — Оттянула все руки, не гляди, что мала. — Гордость слышится в ее словах. И напарница, заглянув под капюшон, в тон заговорила:

— Вовсе она не маленькая — булочка прямо! Честное слово! Какая она у тебя, Томка, хорошенькая, ну прямо картинка!

— Ну уж и скажешь. Обыкновенная! — в голосе матери радость. И, не желая оставаться в долгу, заинтересованно спрашивает: — А ты как живешь?

2.

Больше всего Смолина боялась, что родится у нее девочка. Уже последнее время дохаживала, как подумает об этом, в жар бросит, красными пятнами лицо пойдет и без того пятнистое. Станет она у окна, живот гладит, а слезы сами собой льются.

На улицу выходила редко. Хотя и была она характера крепкого, даже вздорного, как о ней отзывались в ламповой, а тут обуял ее страх перед Зинаидой. Не стыд, а страх. Слышала Смолина, что та ходила к какой-то бабке, чтобы вылечить мужа от присухи, и передавали: грозилась, дескать, Зинаида, что отольются потаскухе ее, Зинаиды, слезы.

Они, пожалуй, лет десять в подругах ходили, с тех пор, как пришли на шахту в ламповую. Случалось всякое: и ссорились — чего не бывает там, где одни бабы, а Смолина — ей только затравочку подай — развоюется, раскричится — ни уему, ни страху не понимает. Зато и начальство ее побаивалось. Она так и была бессменным профоргом и за девок стояла горой. И Зинаиде, когда та выздоровела после аварии в ламповой, выхлопотала путевку в хороший санаторий.

Была она и на свадьбе у Зинаиды, хотя считалось, что Смолина демонстративно всегда выступала против замужества вообще.

— Вот еще, — говорила она, — лишняя обуза. На что мужик мне? Обстирывать да обихаживать? Нет, не люблю я этого. То ли дело вольная пташка! Куда захотела, туда и полетела.

Белобрысая, некрасивая, она была так востра на язык, что самые завзятые шахтовые остряки ее побаивались. Девчонки рядом с ней всегда чувствовали себя уверенно, испуганно восхищались ее ухарской дерзостью и бесшабашностью. Она могла после гулянки в ночь-полночь

пойти по заросшим тополями темным улицам, — ночевать в гостях никогда не оставалась.

— Что ли у тебя семеро по лавкам? — смеялись над ней, а она со смехом же отвечала:

— Не терплю я вашей семейной толкотни!

А между тем был смех этот наигранным, и никто никогда не подозревал, как ей хочется этого самого домашнего шума. Руки ее, непривычные ласкать, сохли по домашней беспокойной бабьей работе, и никто из ламповщиц и не подозревал, с какой внимательностью, если не завистью, слушает она их жалобы на семейные неурядицы.

Может быть, оттого, что с детства Смолина знала о своей некрасивости, старалась она на людях казаться вызывающе независимой. Может быть, потому, что игры и танцы рано заменила работа, но в свои двадцать девять Смолина была одинока.

Дважды в ее жизни появлялись мужчины. Слушая их разговоры о загубленной жизни, она придумывала свое короткое счастье, пыталась радоваться ему, как радуются в начале лета желтым одуванчикам. Но приходило утро, а вместе с ним исчезало видение счастья. И пусто, и холодно становилось у нее на душе.

В те дни Смолина с кем-то ссорилась на работе, а спрятавшись в раздевалке, плакала, положив голову на некрашеный стол. И решила наконец, что счастье и любовь не для нее, что доли ее здесь нет, и с тех пор дом ее был всегда тих и покоен тишиной одиночества.

Однажды, возвращаясь с шахты, повстречала Анатолия с дружками. Почти силой отбила его у них и отвела домой. Зинаида сама открыла дверь.

— Принимай-ка принца своего, — Смолина втолкнула нетвердо стоящего хозяина в квартиру, — кое-как удержала, на именины все рвался.

Зина пообещала еще устроить ему именины и со слезами стала жаловаться Смолиной на свою жизнь. Тут забарабанили в дверь громко, уверенно, требовательно.

— Вот пострелёнок, — Зинаида вытерла глаза, улыбка осветила и омолодила ее лицо. — Толька, — объяснила и пошла к двери.

Из коридора слышались ласково-сердитые Зинаидины причитания, потом в комнату впереди матери вкатился косолапый круглоголовый парнишка.

— Вот, тетя Тома, какие мы стали, — любуясь сыном, сказала Зинаида. А когда провожала Тамару к дверям, почти просительно прошептала: — Ты на мои слезы не обращай внимания, нашей сестре поплакать слаще сахара. Я тут тебе наговорила триста верст до небес, да все лесом. Это я со зла; Анатолий у меня хороший, он нас с сыном любит, заботится.

3.

Толпа первой смены схлынула, оставив в воздухе смесь угольной пыли с запахом кислоты. К узеньким окошкам в металлической сетке-стенке ламповой перед спуском в шахту за своими светильниками подходила уже последняя очередь смены: слесаря, горные мастера. Среди серого однотонья спецовок ярко выделяется светло-синее, с меховым воротником женское пальто. Женщина стоит около пятого окошка, ждет. Когда от него отходит последний шахтер, осторожно опершись кончиками пальцев о грязный подоконник, просовывает голову внутрь, за проволоку.

— Здравствуй, Смолина!

— Зина?! — удивленно смотрит та, — здравствуй! Ты что, на работу хочешь выходить? — Потом, как-то устало облокотившись на железный стол, внимательно смотрит на Зинаиду.

— Стерва! — протяжным шепотом выговаривает Зинаида. — Стерва! — уже кричит она, и ламповщицы оглядываются на этот крик.

— Ты чего?

— Еще спрашиваешь?!

Женщины смотрят в глаза друг другу. В одних недоумение, в других — откровенная ненависть. Но вот на острых белых скулах Смолиной проступают красные пятна и, угадав по ним молчаливое признание вины перед ней, Зина кричит на всю ламповую:

— Прикидываешься! Гляделки вылупила! Своего мужика не можешь завести, так отца у детей отбиваешь!

У пятого окна толпа любопытных, ламповщицы окружают Смолину.

— Подожди, Зина, — пытается вставить слово Смолина, но ее беспомощность только подзадоривает.

— Дай только до тебя добраться! Признавайся честно, сколько раз Толька у тебя ночевал?!

Смолина сутулится. Плоское ее лицо морщится.

— Стыдно?! — не унимается Зина, — с мужиком спать не стыдно, а тут заскромничала! Может, я неправду говорю? Чего молчишь? Неправду?! Тьфу на тебя, ну какая ты баба? Да будь я мужиком...

— Да подавись ты своим Толькой! — вдруг резко вскинув голову, зло прерывает ее Смолина. — Чего ты с ним ко мне прицепилась? — и неудержимая во гневе, неожиданно выпаливает: — Что же это от тебя такой красивой мужик ко мне бегает?

— Ух ты! — воскликнул кто-то из собравшихся, и Зина растерялась. Она ожидала оправданий, слез, всего чего угодно, но только не этого. Слушая дома слезные мужнины покаяния, она их воспринимала как нечто далекое, похожее на чужую неприятность. А вот сейчас поняла весь ужас своего положения и заплакала.

Заведующий ламповой вызвал к себе Смолину:

— Правду говорят, Смолина, насчет женатых мужчин?

Смолина к тому времени уже пришла в себя. Всю ночь она проплакала, ругая себя за то, что однажды не выставила Анатолия из квартиры, хотя делала это всякий раз, когда забредал он к ней с компанией друзей. А в тот раз,

когда он задремал на диване, взяла и не разбудила его. Может, оттого, что было ей с ним легко и просто, но скорее всего потому, что (даже себе она боялась в том признаться) вся ее фантазия, все ее помыслы о бабьем счастье как-то сошлись на этой рослой мужской фигуре с лицом свежим и смуглым, с карими под густо сросшимися у переносицы бровями. В конце концов и зависть — не к Зинаиде, нет, ко всем замужним — переполнила ее одинокую душу.

— Так правду говорят? — спросил начальник.

— Что же, у вас холостые взамен есть? — дерзко спросила Смолина и с таким отчаянным презрением поглядела на него, что он только рукой махнул.

— Смотри, Смолина, ты понимать должна, мы этого в коллективе не можем терпеть.

— А мастера на работе с похмелья — это до каких пор будем терпеть? — спросила Смолина.

— С этим мы разберемся, а ты имей в виду! — пригрозил заведующий.

4.

Смолина работала в ночную. Днем она пошла к врачу. Врач, не обратив внимания на ее робость, деловито спросила:

— Впервые у вас? Детей нет? После аборта, знаете, может, никогда и не будет! Но если вы настаиваете — это ваше право, хотя ваш возраст, милочка...

Смолина отвечала односложно, чувствуя в голосе врача не то неприязнь, не то сочувствие, и хотелось ей одного: скорее уйти.

Дома она потом целый день пролежала. На окне — непонятное морозное кружево, на столе — белая бумажка. Казалось, что только от нее в комнате так холодно и пусто. Поэтому от холода бегут и бегут слезы. О чем она плакала? Может быть, от страха перед предстоящим?

Но неожиданная для нее самой вдруг пришла мысль. И не могла она уже прогнать ее от себя, хотя боялась и находила десятки доводов против. Но только один, зато такой, с которым все труднее и труднее было бороться, все с большей требовательностью и властью овладевал ею.

Конечно, никто не знал ничего о посещении ею врача, и случившуюся с ней перемену не замечали. Смолина попрежнему была шумлива и вздорила по всякому пустяку. Но иногда вдруг необычно приветливо и задумчиво начинал звучать е голос, пока она, спохватившись, не приглушала его своей привычной жесткой иронией.

В ее квартире незаметно поселилось настороженное ожидание, и жизнь Смолиной наполнилась заботой.

А однажды она не утерпела и рассказала Сашке-напарнице. Та жалостливо посмотрела на нее, а когда узнала о ее решении рожать, принялась уговаривать Смолину:

— Томка, да ты с ума сошла, в тридцать лет, а? Пока не поздно, не бойся, не ты первая, не ты последняя. Три дня — и ты человек, а то ведь всю жизнь мытариться! Что ты с дитем этим делать будешь?

Но Смолина уже прикрылась обычной своей иронией:

— А Зинке отнесу. Рожу и ей отнесу, на, мол, тебе вот подарочек!

Тогда в ламповой решили, что она — набитая дура.

— Каждый человек счастья себе хочет, — попробовала одна заступиться за Смолину, но ее не поддержали.

А потом, когда узнали, что Смолина обменяла свою комнату на жилье в старом двухэтажном бараке в шахтерском поселке на другом конце города, и вовсе решили, что она свихнулась.

Смолина пришла в роддом сама и сказала: «Кажется, у меня схватки...»

Роды были долгими и мучительными. Когда сестра, обтирая пот с ее осунувшегося лица, уговаривала кричать,

чтобы облегчить страдания, Смолина только скрипела зубами.

Прошла ночь, а она все еще лежала в родильном отделении. И только часу в десятом утра нового дня нестерпимая боль пробежала по телу, зажала его в тиски и стала выкручивать.

— А-а-а-а! — не смогла удержаться Смолина. В голове что-то оборвалось, сознание помутнело. Откуда-то, как эхо, откликнулось резкое: — А-а-а!

Теперь не боль, а слабость разлилась по телу.

— Откройте, откройте глаза, — потребовал кто-то и она медленно, с трудом приподняла непослушные веки.

Маленький розовый человечек разевал рот у самых ее глаз.

— Дочь, поздравляю! — донеслось мягким звоном.

Дочь! Вот оно, то, чего она так боялась. Не хотела она девчонку, памятуя свою незадавшуюся жизнь. И глаза матери закрылись, и из-под ресниц по впалым щекам покатились слезы.

— Да что ты, милая, — уговаривала сестра, — все уже позади, сейчас отдыхать будешь, натерпелась-то как, да погляди ты, погляди, какая она пригожая и уже чернобровая!

Смолина открыла глаза, настороженно глядя на свое дитя. И неожиданно все тревоги, все страхи куда-то отступили. Волна невероятной, еще ни разу не испытанной томительной радости вдруг наполнила ее грудь, все ее тело, и Смолиной показалось, что она слышит, как эта радость с легкостью и силой вливается в нее. И непохоже было это чувство на все, чем жила она раньше. Будто стала совсем другая.

«Здравствуй, здравствуй, кровиночка моя!» — зашептала она.

Тонкий прозрачный румянец покрыл скулы, она вновь закрыла глаза и улыбнулась.

Анатолий приезжал один раз по осени. Прямо во двор, покрытый лужами, тяжело вкатился его автобус.

— Это я, — сказал он, когда на стук Смолина открыла дверь. — Не пустишь поглядеть? — он держал в руках бумажный кулек и не знал, куда его девать.

— Проходи, — Смолина смотрела на него просто и спокойно, не удивляясь и не волнуясь, — только она сейчас спит.

Анатолий снял сапоги у порога и, осторожно ступая, подошел к кроватке. Он долго смотрел на круглое, розовенькое, с густыми черными бровями личико.

— А нос-то, а нос, — сказал Анатолий и непроизвольно потрогал свой нос. — Как же ты теперь? — спросил он. — Что делать-то станешь?

— Как что делать? — не поняла она вначале, а потом тряхнула головой. — Жить будем, Толенька, расти! Чудаки! Все жалеете? Все думаете, влипла баба, да? Я тоже так-то вначале. Пока радость свою на руки не приняла, счастье свое. Вот она, моя кровиночка, и никто нам не нужен. Еще и от своего куска с кем-нибудь поделимся. А что? Вырастет!.. Да ты не бойся, мы тебя не тронем. У тебя своя семья, а у нас — своя, не бойся. Мы и сами с усами. — Она говорила без горечи, без иронии. Она говорила правду.

— И зайти нельзя?

— А к чему? У нас на тебя зла нет, и ты на нас не держи. Зинку не обижай, хорошая она у тебя, — и мягкая улыбка тронула ее губы. — Знал бы ты, как нам хорошо! Сколько у нас радости каждый день бывает, да все новые, новые! Ох и счастливая я!

Анатолий постоял еще немного и задом, так же на цыпочках пошел к двери. Уже от порога он спросил:

— Может, денег надо? — и тогда только заметил, как хороша стоящая перед ним маленькая женщина.

— Нет, спасибо, — Тамара улыбалась, — я же тебе сказала: ничего нам не надо.

— Да я так, понимаешь, ничего, если что? — Анатолию было непонятно поведение женщины, и от этого он вдруг испугался за себя. И долго мялся в дверях.

— И я ничего. Прощай. Ты забудь о нас, забудь, и не сердись, — напутствовала его Смолина.

Расплескав лужу, медленно переваливаясь с боку на бок, автобус укатил со двора.

5

...К бараку своему, старому, двухэтажному, окруженному высокими тополями, Смолина добралась уже совсем затемно. Поднявшись по широкой, чисто вымытой лестнице, она остановилась перевести дух. Спящая девочка оттянула руки. Смолина приноравливалась достать ключ, боясь ее разбудить, когда выглянула соседка.

— Том, — она вышла на площадку, — дай-ка подержу. Ишь ты, нагулялись, притомились! — приговаривала она, ловко беря девчушку. — Вы только ушли, слышь, Том, — соседка следом вошла в квартиру, — и твой тут прикатил. Я, говорит, уголь на зиму привез.

— Вот еще, кто его просил, — щелкнув выключателем, заметила Смолина. — Без него бы не обошлась!

— Да брось ты, Томка! — передавая ей ребенка, зашептала соседка. — Ну чего ты в самом деле! Такой мужик самостоятельный.

— Ладно, ладно! Заступница!

— А чего, в самом деле! Ну, словом, сам он все и сгрузил. Велел сказать что их в колхоз посылают.

— Как так? — испуганно вырвалось у Смолиной. — Поди, и белье теплое не надел? — и, засмущавшись, объяснила: — У них в общежитии целая коммуна. А он — душа простая, все отдаст. Поди, голодный!

— Да накормила, накормила я его! — успокоила соседка. — Еще и сала кусок дала. — И заторопила: — Ну, чего стала? Девка-то сопреет, давай-ка скорее раздевать да укладывать, вон как посапывает.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

За распахнутым окном — июльская жара. Сквозь густую сетку листьев в комнату падают горячие куски света. Они и на столе, за которым друг против друга сидят двое. Душно. Голос звучит приглушенно.

— Как же не согласен? Все как есть правильно. Взял я на душу грех. Вот причина и вышла мне подпись ставить...

Косая челка седых волос перечеркивает лоб подследственного Николая Шитикова. Измученные бессонницей глаза с покрасневшими белками глядят в лицо следователю Трофимову.

— И под судом не приходилось бывать, а за что судить-то? Вот она, жизнь, вся на ладони, — он поднял над столом руку, широко растопырив мозолистые пальцы, и будто сам удивился им: за всю жизнь, наверное, ни разу ему не приходилось так смотреть на свои руки. Засмущался, неловко потянувшись за ручкой.

Долго прицеливаясь пером, прежде чем вывести первую букву своей фамилии, он спросил:

— У меня деньги, понимаешь, на книжке, так теперь-то как бы сделать, чтобы ей, значит, получить, самой-то? Мы ведь не расписанные с ней. И можно, чтоб суд был в другом месте? Мне все одно теперь, а им-то жить здесь со стыдом? Вот, значит, и вышла мне причина подпись ставить, — отодвигая от себя листок допроса, повторяет Шитиков. — А теперь, гражданин мой дорогой, послушай, что скажу. Охота мне не для протокола, а ради совести по душам поговорить, не возражаешь послушать, а?

Молодой следователь кивает головой и серьезно смотрит на Шитикова.

— Я с войны начну. Ее и в теперешней жизни нашей не обойти, хоть с какого бока подступай. Так вот. Служили мы с Иваном, Марьиным мужем, с самой действи-

тельной. Ну, как братаны. Я сам себе голова, а у него, Ивана-то, Мария с дочкой в доме осталась. Он любил о семейной жизни поговорить, а мне это все в диковинку было, даже вроде смешно.

Ты не сердись, что так долго говорю. Хочу, чтоб понял ты главное, не в оправдание я все, а чтобы главное ты понял. Она, Нинка, как тебе кричала: «Не виноват отец!», так? Это я, значит, а ведь я ей вовсе и не отец! Понимаешь? Так уж ты потерпи, гражданин мой дорогой, послушай дальше.

Началось все в сорок первом, когда немец жал нас. Мы тогда и хутора обходить старались, в Белоруссии, значит, это. Обходили, обходили хутора, сил не было, а тут пришлось так, понимаешь, что ни свернуть, ни отвернуть, а про бой и думать нечего. Выдохлись ребята совсем. Вот и послал нас с Иваном капитан в разведку. Эх, да и ходить-то было нечего.

По жердочкам да по кочкам добрались до задов. Тихо в деревне. По проулочку было в улицу сунулись, глядим — мост, а немец, гад, раз в небо ракеты — мы и обмерли. Стоим, как два дурака, а вокруг бело. Опамятовались, да поздно — заметили. Мы к кустам назад, а по нам из автоматов. Рванулись мы в сторону через прясла, тут мне руку и обожгло. До камышей добегать стали, и Ивана достало. Ойкнул он — и как все равно подрубили. А небо от ракет белеет. Я его одной рукой подхватил. Откуда сила взялась, с перепугу, что ли? Подхватил я его одной, зубами за воротник держу и по воде шлепаю, наловчился как-то. Мычит Иван, значит, живой.

Долго брели по мелкоте. В глазах круги красные, а мне все ракеты чудятся. Руку саднит. Челюсти, как у бульдога, вроде судорогой свело. Помню, кусты какие-то зачернели в сторонке, я к ним повернул, шагнул было, да прямо в омут-то с головой и ухнул.

...Вынырнуть-то я вынырнул, дорогой товарищ, да

только один. Сунулся было опять в воду, а дна и нащупать не могу. Вот оно как выходит...

Как выбрался на сушу, плохо помню. Открыл глаза, вижу, висит надо мной белый фонарь, как раз над головой. Вот и все, думаю, отвоевался брат! А сам ни рукой, ни ногой. Зажмурился, жду смерти. Только никто меня не трогает. Не вытерпел, страшно, а глаза открыть не могу. Господи, так тебя, сяк, я это звезду с фонарем попутал.

Стал соображать, где я. Слышу, Иван стонет, вроде... Да и вспомнил я все. А голос дружка в ушах у меня, видать, остался. Здоровой рукой воды нащупал. Плеснул в в лицо, маленько просветлело в голове. А руку словно выкручивает кто или жгет каленым. Давай я изворачиваться, рубаху исподнюю рвать. Кое-как кусок оторвал, выше раны руку перетянул, немного полегчало. Приподнялся, что-то темное впереди вижу. Присмотрелся, а это та деревня, и совсем рядом, а вокруг вода блестит. Туман подниматься стал, сгустил черноту, хоть пей. И вот, веришь, первый и последний раз со мной случилось: заплакал я. Плачу и кляну последними словами войну за подлость ее... Меня наши же, ребята рассказывали, потом и подобрали, кровью изошел. Думаешь, жалуюсь... Душа, видать, через край, не принимает больше, вот и говорю.

Нинка, слышь, на свиданке говорила, что мать-де слегла и, мол, велит она адвоката-защитника нанять. А я думаю так: ни к чему все это. Какой он ни был, а все одно человек ведь. В спокойствии рассудить, то не имел я никаких правов жизни его лишать, хоть и лиходей он, мучитель. — Шитиков помолчал. — Да, вот было оно и сплыло, спокойствие, товарищ следователь. И, может, правее всякого закона я себя в неправом-то деле чувствую перед совестью своей. Поэтому и нечего на адвоката тратиться, им деньги еще пригодятся. Верно я говорю?

Сбился с разговора. Рука-то, видишь, наладилась у меня. Я до самого конца войны довоевал. А жене Ивана, Марье, тогда я так отписал, адресами мы с ним с первого

дня поменялись на всякий случай: «Погиб ваш муж и отец геройской смертью».

Шитиков замолчал. Следователь, достав из пачки сигарету, подтолкнул пачку по столу в сторону подследственного. Закуривали молча. Каждый по нескольку раз громко затянулся, прежде чем Шитиков заговорил снова.

— Сюда я прямо из-под Берлина. Как стали адреса заполнять перед демобилизацией, ну и решил я. До дому, алтайские мы, рукой подать. Думал: посмотрю, может, что подсоблю вдове. Стали к Тополинску подъезжать, пропал у меня сон и кусок в горло не лезет. Кое-как отыскал улицу Зеленую. Снег еще не сошел, грязища непролазная. Домишки кособокие стоят. Не то что сейчас хоромы с верандами. Иду я к Иванову дому — показали мне издали проулок, а за спиной, чую, как меня люди глазами провожают. Узнавать не узнают, а все смотрят: чей-то солдат вернулся? А ноги мои вовсе не идут. Ну зачем, думаю, приехал, дурак?!

Остановился у калитки дух перевести, а дверь настежь, и баба простоволосая выскочила на крыльцо, а за ней девчонка.

— Здравствуй, — говорю, — хозяйка...

Как сейчас вижу; она головой так из стороны в сторону водит, а сама руками за горло схватилась. Только через порог ступил, кинулась ко мне, закричала. Ох, и страшен он, этот бабий крик. Стою столбом, не знаю, что делать, двери нараспашку, закрыть бы их, да не знаю, чего с хозяйкой-то делать. Утихла когда, стала на стол собирать. Я подарки им кое-какие привез, довчонка рада, побежала на улицу показывать, а мы с Марьей за стол сели. По одной да по другой выпили. Она все про Ивана пытает да про жизнь свою вдовью рассказывает. В голос не кричит, а нет-нет всхлипнет да утрется передником.

Поздно мы засиделись. И всю ночь, почитай, не спал я, судьбу свою раздумывал. Утром проснулся когда, смотрю, сидит Нинка около моей постели, смотрит на меня. Вдво-

ем мы с ней, оказывается, остались, мать на работу ушла на шахту. Пошли мы с Нинкой на базар. Ну я, конечно, при параде, полный кавалер солдатской Славы, теперь и шахтерская у меня полная — все три знака, а видишь, что выходит, под корень жгу славу всю, и сижу я тут перед тобой, седой да искореженный, опозоренный самым что ни на есть страшным позором...

Идем мы, значит, держу я девчонку за руку, а сам себе думаю: не знаешь ты, не ведаешь, дите неразумное, что это за дядька с тобой рядом. Все-то Ивана я вспоминал...

Пришли. Тебе незнакомо, а послевоенный базар — это хоть козу покупай, хоть воду «святую», ей-богу, там и такую продавали! Ну мы с Нинкой, конечно, первое дело к конфетам сунулись, такие цветные палочки, уже не помню сколько штук, но много мы взяли.

Смотрю, мужик в гимнастерке, видать, тоже демобилизованный, буханки хлеба продает. Я к нему: почем, браток? Он уже веселый, говорун такой — тебе, говорит, земляк, и по дешевке уступлю. За восемьдесят рублей срядились. Это верно, он дешево отдал, я ему деньги, а он говорит: пойдем-ка по чарочке. Конечно, угостились, сперва он, затем и я от себя выставил, тут же опять у старухи какой-то и брали. Разговорились: воевали чуть не рядом. Да по этому делу, мы, почитай, все земляки. Он говорит: догуляю и в шахту. Хватит бабам под землей сидеть, пусть теперь население увеличивают, говорун, конечное дело.

Нинку я при этом все при себе держал.

Вот я о себе говорю, а знаешь, теперь другой раз подумаю, может быть, не след мне приезжать было? Ты чего не подумай, живем душа в душу. А вот скажи, ну чего принесло?

Слово дружку дал? Такого и уговора-то не было, а видать, засела в меня вина, что не уберег я его. Сам-то выкарабкался... Как ты думаешь? Видать, совесть-то в человеке самое неспокойное. Не надоел я тебе? Может, время занимаю, ты скажи, не робей, а то посиди, чуток послу-

шай, тебе ведь жить да жить, поди, недавно за двадцать перевалило? Вот этакие и мы с Иваном были...

Ну, значит, накупили мы с Нинкой сала, консервов, конфет, да уж и не припомнить всего, и домой. А там название одно — что дом. Все подгнило, сараюшка вовсе развалилась, заплот только что не лежит. Как глянул на разруху эту, сердце зашлось.

Думаю, подсоблю малость хоть, кто ей что сделает, с утра до ночи почти на работе, а там подамся восвояси. Ну и принялся, значит, за дело. Помню все как есть. Вот скажи, и дело совсем пустяковое, и годов сколько утекло, а вроде нонче все произошло. Помню, сижу это на сараюшке, крышу перебираю, а Мария с работы вернулась. Стала у калитки, смотрит и глаза утирает. Вот так и стоит, вижу. В фуфайке, глаза подсиненные, это от угля, в шахте ведь работала, платок цветастый на ней, и краем платка этого слезы вытирает.

Может, тогда и запала она мне на душу, но сам я еще ничего этого не знал, успокоить не умею, да и какой уж тут покой!

Так-то я, почитай, с неделю прожил. На сон я никогда не жаловался, а тут нейдет — и все! Нету сна, а все что-то саднит да саднит, вроде вот как потерять не потерял и найти не нашел. Кое-как самое аварийное я залатал, и ехать уж пора, конечное дело.

Сидим это мы с ней за столом, о том да о сем говорим, я тут деревню вспомнил, а там-то у меня и своих-то седьмая вода на киселе... А она возьми да и скажи мне:

— Ты только чего плохого не подумай, я вижу: ты человек самостоятельный, я ведь все равно квартирантов держу. Тяжело одной-то, да и во дворе когда помощь нужна. Коли некуда ехать, так оставайся, на шахте работы хватит. Дорого не возьму, а похлебать всегда сготовлю да обстираю. Там оглядишься, обживешься да невесту подыщешь, девки у нас — лучше не сыскать!

Остался я. А дня через два и на шахту пошел. Там ме-

ня в один час оформили, аванс выписали, и пошел я в забой. Работы никогда не боялся. Мы, деревенские, к ней привычны. Поначалу, правда, все наверх поглядывал, прислушивался, ну да это быстро прошло, освоился, приноровился. Дома все гладко. Мария — женщина строгая, да и я место помнил, квартирант и есть квартирант. А с девчонкой подружился, она меня дядей Колей стала кликать, а бывало, и на работу проводит, когда матери нет, и встретит, накормит.

С полгода так, может, более прожили. Позвали как-то под Новый год ее соседи, ну а она и меня с собою взяла, мы в одну смену оказались. Я еще не шел было, а потом думаю: все же праздник. Самогон там, пиво, бабы плачут, мужики, которые были, не отстают. Засиделись и домой уже затемно пошли. Возьми я на крыльце-то и обойми Марию. Скажешь: так, сдуру, от хмеля, от тоски по бабе? А кто ее знает, оно, может, и так. Мне ведь к третьему десятку подходило, а как по-настоящему обнимаются, и не знал. Она не оттолкнула, только голову на моем плече спрятала.

Стоим мы так на крыльце. А меня вдруг словно кто в спину толкнул. Отпрянул я от нее, она аж вздрогнула.

— Ты чего? — говорит.

— Не можем мы, Маша, с тобой, — говорю, — об этом думать.

— Что ж, — говорит, — я теперь на всю жизнь проклята?

А я возьми и да и брякни:

— Не ты, а я распроклят на всю жизнь. — и выложил тут я ей про нашу с Иваном последнюю разведку. И про болото, и про ранения, и про омут тот...

Она как-то с непониманием поглядела сперва, а потом как вскрикнет да завоет, что твоя волчица. И такой она мне разнесчастной показалась, что в пору хоть самому в петлю.

Ушел я от них в общежитие. Изредка заходил, все денег хотел дать, видно же, как надрывается, да только не брала она.

— Нет у меня на тебя зла, — говорит, — но уж лучше бы не ходил ты.

А во мне что-то вроде повернулось. И укрепился я в мысли. Думаю, пусть самолюбием занимается, но я уж не мог, понимаешь, никак...

Не помню, сколько и времени прошло. Сошлись мы с ней. Девчонке, конечно, отец нужен был, да ведь и сами мы, поди же, не каменные. Не играли, конечно, свадьбы. Зато Нинке уж я справил свадьбу сразу и за себя. Нам как-то не до веселья было, вроде сперва как примерялись друг к дружке. Только, видать, забываться оно ничего не забывается. Другой раз чудится мне, что Мария еще и сейчас Ивана вспоминает, но я уже виду не подаю.

И как в лаву спустился, так до последнего дня на угле. Ну постепенно, конечное дело, и в доме веселело. Коровенку завели, тряпки кое-какие, собирать стали на новый дом. Видал бы ты, как мы этот самый дом строили. Вдвоем. Я с одного конца бревна, она с другого. Иссохла сама, замучилась, а дом-то все выше и выше. Помню, последний венец клали, а она и признайся:

— Не могу я более тягость такую поднимать! Нельзя мне!

Видишь, как жизнь сама по себе действует и согласия не спрашивает.

Окна прорубили широкие, светло у нас в каждом углу. Кажись, и новоселье недавно справляли, детскую мы с солнечной стороны распланировали, а глядь, девка-то наша и заневестилась. Мария по хозяйству дома занималась, а Нинка на шахту пошла, моторисгкой на обогатительную. Семья шахтерская, конечное дело. Семилетку закончила и пошла на шахту: учиться, говорит, еще успею. А тут другое подоспело.

У нас же на участке и работал парень. Ну и лихой же вруб-машинист был Мишка! Если уж он на смене, завсегда уголь подрубит как надо, все в аккурат, и машина, как часы. Вот ведь свела же их судьба с Нинкой нашей.

Пришли однова вместе. Мишка бутылку на стол, так, мол, и так. Ну что ты будешь делать? Мать, конечное дело, в слезы, но отговаривать не стали. Решили: свадьбу будем делать. Мы с женой словно к своей свадьбе готовились.

Красиво отгуляли. Соседи и те радовались. Оба-то они красивые да здоровые, удача, говорят, Мария, у тебя с дочкой; люди поздравляют.

Прошло времени-то пустяк. Раз за столом сели, гляжу, а у Нинки под глазом синяк. Я за зятя. Так, говорю, у нас в доме не водится. Что это, говорю, к кровати еще привыкнуть не успели, а уже норов показываешь? Да по пьянке, отвечает. Ну, конечное дело, водка и из курицы петуха сделает. Думал, по нечаянности.

Затеяли мы молодым дом срубить рядом почти с нами, чуть за проулком. Зять как с шахты, так за топор, утром чуть свет и на сруб, работящий, сукин сын, был... Ох, радовались мы с матерью за Нинку. Новоселье чуть не неделю справляли, дружков у него, конечное дело, полгорода, надо всех ублажить. Мы не перечили, по обычаю как будто все шло. Мы, шахтеры, конечное дело, погулять по праздникам шибко любим. Очень мне по сердцу, когда у меня застолье полное, но ум-то завсегда при тебе должен быть, а коли нет, так и за стакан не хватайся, морока от тебя потом людям.

Это я теперь рассуждаю, а тогда как застлало зенки-то поначалу. Тут мне уж люди говорить стали, да и сам замечаю, что как они переехали в новый дом, ну подменил словно кто зятя. А может, у нас подменный жил, кто его знает. Ну, не стало с ним спасу. Приду это я к нему: что же ты, Михаил, утворяешь, на шахте ведь уже народ пальцем в нас тычет!

— Ты, говорит, папаша, не сумлевайся, это временные трудности, и мы их преодолеем.

И верно ведь, дня три держится, не нарадуешься. И на шахте, и в дому горит работа в руках. А как сорвался, и покатилось, понеслось!

Однажды прибегает Нинка растрепанная, в слезах. С ножом, говорит, гонялся! А она последнее время ходила. Ну, я к зятю, спит себе, гад, на полу прямо и во сне улыбается, чисто ребенок. Жалко мне его стало, дурак ты, думаю, губишь свою жизнь и не видишь, как. Стал я вроде шефство над ним держать, неприметно так. Упросил, чтоб нас в одну смену перевели. Конечное дело, на шахту вместе, с шахты — тоже. Где какие дружки-приятели, а я тут как тут. Пойдем, дескать, Миша, жена с дитем (родила Нинка парнишку) ждет, ну и теща там чего напекла-нажарила.

Не совсем, но утих парень, за ум, похоже, взялся. Удочки купил, двустволку, на рыбалку стал ездить. Там тоже сухо не обходится. Но от воздуха, может, или от чего еще, но домой уж тихий приезжает. И на том, как говорится, спасибо!

Да ведь люди говорят: бог-то бог, да сам не будь плох. Уж не помню, с рыбалки ли или еще по какому случаю, а избил он, сволочь, опять Нинку. Правда, времени много прошло, Колька ходить начал, это они так внучонка назвали.

С участка он сбег. Перешел в посадчики на пятый. Рисковая работа, но, зверь, работы не боялся никогда, а деньги опять спускать стал. Я, говорит, может, как на фронте, каждый день риску поддаюсь. Я его и на пятом достал. Он со мной завсегда уважительно. Я, говорит, папаша, осознал свою подлость. А после последней-то их войны ушла от него Нинка, прибежала к нам. А утром и воин припожаловал.

— При ваших, говорит, глазах, родители, я обещание

даю подлость свою прекратить, потому как я семейству своему голова.

— Голова, — говорю, — да дурная, а ведь у тебя уже сын растет, чего ты, говорю, думаешь?

— А думаю, — говорит, — жизнь на сто восемьдесят градусов повернуть.

Он же, шельма, сообразительный был, сукин сын!

Что делать прикажешь? Какой ни на есть, а все отец ребенку. И, конечное дело, все же в человека верится, не зверь же. У того, приглядись, и то маленькая, а поди, душа есть... А любовь? Опять, видел же я, что любила его Нинка.

До калитки, как говорится, не дошли, а он за свое. Грешен, не утерпел я, набил раз, прости господи, морду. Здорово набил, силушка еще кой-какая держалась во мне. И знаешь, как будто на пользу пошло. Приутих, на работе складно стало. Начальник мне его как-то и говорит: «Шитиков, зять-то твой на исправление пошел, за ум взялся...»

Оно и верно, только с другой стороны, оказывается, это я тебе скоро так говорю, а волынили мы где-то года три, пожалуй. Он ведь, темная душа, что удумал: стал Нинку подговаривать дом продать. Дескать, потому у нас все кувырком идет, что старики мешают. Вон, мол, и Кольку от дома отучают. А внучок-то, правда, все у нас. В ясли мы не захотели отдавать. Мария по дому хозяйничает, а чтобы внучок по людям, да это же, конечное дело, ни к чему.

Ну, баба, она завсегда баба и есть. Ни слова, ни полслова не сказала, а пришла и объявила:

— Дом мы продаем и в Междуреченск поедем.

Ну, что тут делать? Жили бы, главное. Однако через полгода вернулись. Помог я ему на шахту устроиться. Начальник так и сказал: «Из уважения к тебе, Шитиков, только твоего зятя и беру». А жить-то на квартиру пошли, не захотели к нам в дом.

Думали, может, и верно добром живут.

На шахте мы редко с ним встречались, к ним я не ходил: не зовут, ну, а напрашиваться ни к чему. Мария нет-нет да и забежит. Хорошего, говорит, мало, но все не так зверствует. А тут по шахте слух прошел, что чуть ли не неделю зять-то мой в загуле был. Я специально на участок наведался, и там подтвердили это. Стыдобушка на седины-то мои, да больше обиды болесть за Нинку грызет. А что делать?

Он меня как-то за мостом, со смены я шел, встретил. Лохматый, опухший, грязный, на себя не похожий.

— Опохмель, — говорит, — папаша.

Глянул я в шары его пропитые.

— Ежели, — говорю, — опохмелю я тебя, зятек, век не протрезвеешь.

Ведь вот сказал же такое. Не думал я ничего, а сказал. А он нехорошо засмеялся: мы, говорит, еще с тобой повстречаемся.

— Дома-то чего лютуешь, темная твоя душа, оставил бы невинных в покое, — говорю.

— А, может, она и виноватая во всем, почем тебе промеж нас все знать? — отвечает он мне. А сам все улыбается, да вижу, как-то все в натугу у него выходит.

Однажды после смены отдыхал, приходит жена вся в слезах. Избил, изверг, Нинку, говорит, места живого нет. Ну и пошел я к ним в гости. Захожу в комнатушку — а какие хоромы-то были! — захожу, лежит Нинка на койке черная, глаз поднять не может, дрожит вся. Меня, глядя на нее, оторопь взяла.

— Одевайся, — говорю, — дочка!

Привел я ее домой, а Марии наказал гнать зятя в шею, если вдруг объявится.

Он и правда раза два без меня приходил, ну, а потом вроде как и сгинул.

Месяца два прошло, слышу, говорят: рассчитался. Ну, думаю, черт с ним, может, бог унесет куда. А мы как-ни-

будь проживем. Нинка-то отошла совсем, повеселела. Решила на работу пойти, он ведь, нехристь, рассчитал ее, чтобы, дескать, не перетруждалась, ах ты, темная душа! Играет она дома с ребенком, матери по хозяйству помогает, и забывать мы про горе наше стали, как ровно про страшный сон.

Вчера прихожу с работы, с четырех я ходил, дома все вверх дном. Посуда перебита, у жены губа будто поджарена. Оказывается, зять в гости приходил. Ну, а дальше, как в протоколе написано. Аккурат второй час ночи был, — я когда с койки встаю, завсегда время гляжу, привычка, конечное дело.

Кто-то в дверях трах, бах! Спрашиваю:

— Кто? — молчат, а потом голос незнакомый:

— Отворяй, хозяин, гости пришли.

— Какие такие гости? — спрашиваю. А сам говорю бабе: — Кто-то заплутал, что ли?

А в тот самый момент булыжник, что у тебя на столе, дзынь в окно. Стекло вдребезги, и слышу, Мишка кричит:

— Нинка! Выходи, а я сейчас с тестем говорить буду!

Бабы всполошились, Нинка около меня тут, в одной рубашке мечется, все причитает: «Папа, ой, папа, ой, папа!»

А он, подлая душа, уже за наличники уцепился, окна-то у нас высокие: и по раме чем-то шарах. Ее как и не бывало, гляжу, а он это прикладом ружейным. Ну что, думаю, я на фронте не погиб, от народа почести за труд принимал, чтобы от поганых рук умереть?! Я вовсе не в оправдание, ты не думай, говорю. Но, видать, вскипело во мне. Годами, видно, собиралось, набаливало. Может, тогда я и не так складно думал, конечное дело, не до дум было. Может, потом сообразил, но по душе, гражданин мой дорогой, так выходило. Я было потянул за приклад, да он вырвал и стволом уже в пролом-то тычет. Я за ствол, он, видать, не ожидал, и вырвал я ружье. Он же, подлый, все одно в окно лезет, последними словами костерит нас. Ну, сунул я ему дуло в морду, нет же, не угомоняется.

Я и взвел курки. Может, поверху хотел, а может, и нет. Теперь кажется, что поверху, а тогда, думаю, что в него целил.

— Уходи от греха! — кричу.

А он, подлец, не унимается. И когда дошло уж до нетерпения моего душевного, пальнул я из обоих стволов. Говорится все долго, а там-то, если минутка прошла, так хорошо.

Загремело когда, помню, Нинка закричала. Оглянулся я, а глаза-то у нее точь-в-точь Ивановы: серые, с крапинкой. И как это я раньше, думаю, не разглядел.

...За окном жара. В комнате обломок солнечного луча упал в графин с водой, что на подоконнике, и разбрызгался тихими маленькими пятнышками на полу. Одно из них легло около кирзового сапога Шитикова.

РЕШЕНИЕ

Игорь стоял на обочине шоссе и провожал взглядом автобус, только что доставивший его вместе с немногочисленными незнакомыми попутчиками, которые как-то быстро и незаметно разошлись. Напротив него, через дорогу, шумно зеленели высокие густые тополя. Он узнавал и не узнавал их — тополя растут быстро.

За тополями, поодаль от шоссе, лежала его родная деревня. Собственно, деревни уже и не было. Правда, в логу, за мостком через высохшую речушку, за тальниковыми и черемуховыми зарослями, прятались несколько почерневших домиков, по-стариковски согбенных, с морщинистыми ставнями. с поседевшими от времени и непогоды крышами. Деревня казалась обветшалой на фоне свежего асфальта — в предыдущий приезд Шилова асфальта еще не было. На душе у него было смутно. Горечь совсем затмила радость, заполнявшую его всякий раз в момент встречи с родным местом. Шилов с тоскливой настороженностью

шагнув за асфальтовый порожек в мягкость дорожной пыли, оглянулся, словно стремясь разглядеть за тополиным занавесом нечто, покидаемое им навсегда. Но покойно и равномерно гудели в легком ветерке могучие кроны. И почему-то вдруг вспомнились внезапно знакомые строки: «Город хитр, город смел, город ловко устроен...».

Он усмехнулся. Как все это было недавно: веселые, длинные летние вечера у костра, ребята с фантастическими размышлениями о победном шествии по жизни, с чтением стихов, а вот уже перегорел шахтовый терриконик, усеченной вершиной маячит он на горизонте. Его красным горельником засыпали новую улицу: на ней выстроились многооконные особняки с гаражами, с садами, обнесенными на городской манер штакетником.

За новыми незнакомыми домами в гущине тальника прятался родительский дом.

В деревне хотя и поселилось много пришлых горняков с новой шахты, обычаи деревенские соблюдали, счет родне вели строгий, жили письмами да слухами про детей и внуков, а когда случалось кому-нибудь из них приезжать, гости собирались званые, незваные.

Самым знаменитым среди жданных гостей на деревенской улице слыл Игорь Шилов. На весь поселок, дети которого разбрелись по белу свету в должностях инженеров, учителей, офицеров, адвокатов, врачей, переводчиков и стюардесс, Игорь был на особом счету: он был единственным артистом. Земляки узнавали его на экране телевизора, пусть не в числе главных исполнителей, но довольно часто. Это обстоятельство недавно еще очень льстило Шилову, хотя он все реже и ненадолго показывался дома. Суматошная актерская жизнь: спектакли, репетиции, съемки на телевидении — так разгоняла свое колесо, что все меньше и меньше оказывалось времени и желания приехать сюда. Кажется, он и вправду был талантливым актером и, может быть, если ему чего и не доставало, так это некоторой усидчивости в работе, что, впрочем, счастливо компенси-

ровалось мальчишеской безоглядной влюбленностью в театр, в само таинство сценического действа. Влюбленность эта выражалась в, быть может, излишней эмоциональности и открытой искренности его даже на рядовых репетициях, не говоря уже о самих спектаклях. Он любил сцену нутром, загадочная темнота пустого зрительного зала привлекала его всегда, он любил своих товарищей по сцене, и они—так казалось Игорю — платили ему той же задушевной искренностью. Взбалмошный, он посреди ночи мог заявиться с цветами, неизвестно где и как сорванными, и поднять на ноги спящего именинника или в самую последнюю минуту перед отправкой на выездной спектакль ввалиться в автобус с блоком дефицитных сигарет, принимаясь тут же одаривать ими страждущих курильщиков. И недовольно ворчавшие несколько минут назад коллеги снисходительно улыбались: «Ну что с него взять—это же Шилов!».

Все началось как-то весной незаметно. Шилову срочно пришлось вводиться на роль вместо заболевшего Вяткина. Роль не ложилась Игорю на душу. Однако отказываться от роли было не принято, и Шилов безропотно подчинился решению главрежа.

Но как с самой первой репетиции отчего-то все не задалось, так и пошло в работу. И в конце концов главреж констатировал: «Будем считать, вполне съедобно. Выше своего пупка еще никто не прыгал!»

Шилов со спокойной улыбкой выслушал приговор, в то время как в душе у него все клокотало. Зрители встречали его равнодушием. Он чувствовал их отчуждение. Актеры поначалу дружно сочувствовали ему, мягко оберегая утешительными словами: «С кем не бывает», «Конь о четырех ногах, и то спотыкается». Однако эти утешения, странным образом подогревая самолюбие Шилова, поддерживали в нем сознание несправедливой обиды, разжигали ее. Он продолжал ходить по друзьям и знакомым, ища у них поддержки. Он не понимал, чего хотел драматург от роли, он пытался искать сам, но не находил. Режиссер лишь по-

жимал плечами. Видимо, он и сам не понимал, но говорить стеснялся.

Веселая общительность Игоря незаметно уступила место назойливости. Ему казалось, что над ним посмеиваются. Он стал резок и подозрителен.

Все от него отвернулись. Он дотянул кое-как до конца сезона и сбежал. Театр поехал на гастроли в Курск, а Шилов — в поселок, к матери.

Первым, кого увидел Игорь, был сосед Игнатий Петрович Петухов. Старик пятился из-за зарослей тальника, напрягаясь изогнутой спиной, и тащил на туго натянутой веревке козу. Она, упираясь, приседала на задние копытца, мотала из стороны в сторону головой. Споткнувшись пяткой о крупный осколок породы, Петухов остановился, оглянулся. И заметил Шилова.

— Игорь, что ль? — спросил Игнатий Петрович без удивления и, не дожидаясь ответа, попросил: — Ну-ка, подсоби эту холеру вытащить, — вместе с веревкой сбежала с плацдарма!

Они вдвоем затащили упирающуюся козу на насыпь.

— Ты в гости, однако, парень? А наш-то Михаил, вчерась только и улетел. Тебя все хотел посмотреть. К матери твоей за адресом ходил. Он теперь уж капитан, на тяжелых летает... Месяца не дожил дома, сноха, так я думаю, сбила его. Обещался весь отпуск жить! «Косить вместе будем, отец!». А собрался в одночасье, как припекло. «Дела», — говорит и все. Улетел Мишка. Максимовне, вишь, радость-то будет какая! Мы тут с козлами все, да ждем-пождем вас, птиц перелетных. А чо, еще все в женихах? Мишка внука к покрову сулит. А ты, выходит, все прицеливаешься. Энтот выстрел, парень, не простой... Ну, дак иди, иди... Ты навроде, как с две зимы уже и не бывал дома-то, а?

Сосед во время разговора удерживал уже спустившуюся на другую сторону насыпи козу. С последними словами он сам шагнул в сторону. Почуяв послабление, коза рванулась так, что дед чуть не упал.

— Да погоди ты, холера! — зашумел он на козу.

Мать Игорь увидел сразу от калитки. Она, видимо, кормила кур: в руках у нее была старая большая миска. Она стояла спиной к калитке в платочке, в платье, которое, кажется, было знакомо Шилову с самого детства, и что-то говорила лежащему у ее ног Шарику, показывая пальцем на заплот, на котором, склонив голову набок, сидела большая черная птица.

«Больше ей и говорить не с кем», — виновато подумал Игорь, просовывая руку в знакомую щель в калитке, нащупывая щеколду.

Мать обернулась, увидала его, заулыбалась, заторопилась.

— Сынок! Гляди, Шарик, хозяин приехал! — она засеменила навстречу, по дороге аккуратно положила миску на завалинку, на ходу поправила платок, отерла о передник руки. Игорю, чтобы поцеловать мать, пришлось низко наклониться.

— Да что ты, мама! — идя вслед за ней к крыльцу, снисходительно успокаивал он мать, уголком платка вытиравшую глаза.

Высокий, статный, он осторожно обнял ее за плечи. И от этого странное чувство детской радости заполнило его всего. И еще новое чувство — своей силы — одновременно разволновало и порадовало его.

В доме было светло и тихо. Старый стол, диван, телевизор перед распахнутым окном, занавески на окнах — все было знакомо Шилову и тревожило этой узнаваемостью.

Мать усадила его за стол, на котором быстро появились чашки и сковородка с картошкой, словно бы мать все время ждала его, хотя он собрался в дорогу неожиданно и для себя. Она села на табуретку около печки и с улыбкой, в которой таилась тревога, молчаливо глядела на сына.

— Отдохнуть я надумал, мама, устал. На гастроли решил не ездить. По тебе соскучился. По дому.

В открытое окошко тихо потягивал ветерок, колыша белую занавеску.

— И отдыхай, сынок, отдыхай. То-то радости. А я совсем одна осталась. У меня с весны, после школы, Ленка жила, да дня три как домой уехала.

— А сами-то они часто бывают?

— Как ягода началась, раза два были. Николай машину купил, на машине ездят. Да ты ешь, сынок, ешь, — угощала мать.

Потом они вместе вышли в огород, показавшийся совсем маленьким, постояли около копошившихся в загородке кур. И все это время, и потом весь день, до самых вечерних гостей, мать неотлучно была подле Игоря, весело рассказывая про свое житье, про своих кур, домашние дела, часто вспоминая внучку, пересказала все деревенские новости. Но в то же время Игорь увидел, как тревожно она вдруг оглядывала его мгновенным взглядом, словно бы удостоверяясь, что он здоров по-настоящему. В такую минуту он терялся, чувствовал себя перед матерью виноватым, однако гнал это чувство, убеждая себя, что обязан беречь покой матери, и поэтому торопливо придумывал какой-нибудь вопрос, вроде того, сколько же лет теперь бабке Жданихе, самой старой старухе у них на улице.

Гости сходились чинно, степенно. Здороваясь, называли Игоря по имени-отчеству. Отцы, матери его школьных товарищей. За столом переговаривались о своих домашних делах и, между прочим, вставляя в разговор слово о том, что Митька прислал посылку, у Сашки родилась вторая дочь.

Когда застолье развеселилось в праздничном разноголосье, стали гости наперебой вспоминать детей, похвалялься ими, и странно было Игорю видеть их постаревшие морщинистые лица, седые головы, и во всем этом узнавать, а точнее, дорисовывать воображением лица тех, с кем бегал по улице, лазал по косогорам, собирал ягоду.

Затянули песню про то, как «бежал казак через долину...». Игорь вышел в сени, сел на низенькое крылечко, закурил. Темное вечернее небо показалось ему совсем не похожим на то, которое приходилось ему видеть в других местах. Оно, как и этот дом с кособокой банькой возле калинового куста, было таким же старым и родным. Сорвалась с неба звездочка. Будто тоже знакомая. И горько, тяжело сделалось Игорю на родном крыльце, на том изначальном пороге, через который вступил он в жизнь и к которому привела она его растерзанного и растерянного.

Разбудил его утром стук в окошко. Несмелое призывное постукивание ногтем по стеклу. Он повернулся, упершись плечом в спинку дивана, из-за которой просматривалась только часть рамы. Стучащего он не разглядел. А возможно, и не было его, а ветром кинуло в стекло веточку? Уходящий сон медленно, до хруста растянув суставы Игоря, беспричинной улыбкой задержался на лице.

Он слышал, как босо прошуршала по полу мать, узко приоткрыла дверь, словно не решаясь впустить в избу беспокойство начинающегося дня, вытолкнула белую полоску света. Деревянно охнув, дверь затворилась за ней. Светлая тишина стлалась от порога.

Игорь потянулся еще раз, резко сел, спустил ноги, приятно стужа половицами подошвы молодых ног, поглядывая на дверь, быстро влез в джинсы. Не в силах сдержать желания тренированного тела, дал мышцам волю: побоксовался с воображаемым противником, поприседал и попрыгал. Вышел навстречу деревенскому утру.

Оно еще не до конца высушило прохладу ночной тени, затаившейся под поленницей дров, но рассыпалось куриными перекличками, отдаленным машинным гулом, щекотливой теплотой брызнуло в лицо, окатило пляжную бронзу Игорева торса, вызвав ощущение радости.

— Чего рано, сынок, поднялся? — услышал он голос матери и увидел ее возле летней кухни. — А Зинаида нам уже молока принесла парного. Где, говорит, в городе ему

парного найти, поди, уж и вкус забыл! Возьми-ка крынку на лавочке. откушай-ка!

У молока был вкус детства. Не сладостью, не соленостью, не горечью определяется он, а зримостью затаившегося в человеческой глубине восторга. Тоненькая струйка молока, соскользнувшая с угловатого Игорева подбородка, погребной прохладой холоднула грудь, и он весело и радостно, по-детски засмеялся.

— Хорошо, мам, как!

— Ну и на здоровье!

Он босой ступил с крыльца на траву, пошел к матери. Сел на обрубыш около печи.

— Я, мам, сон какой-то видел, вроде бы кто в окно стучал, — да так, что я и проснулся!

— Нет, сынок, — засмеялась мать, — то не сон. Ты же на Ленкином месте спишь, возле окна. А это ее птица прилетала. Принесла галчонка по весне еще, мальчишки по гнездам шарят, ей и подарили. Он у нас сперва в сенках в клетке жил. Потом она его просто на крыльце держала. Гнездо из сена сделала. И подружились. Диковинная такая птица! Да когда ты приехал, она вот здесь, — мать показала рукой на заплот, и Игорь припомнил, что будто бы видел, — сидела. Ленка ее до сих пор с рук кормит. Она утром вот так в окно постучит, Ленка выходит, а птица ей на плечо садится. Тут, сынок, настоящий цирк. С крыльца Ленка покличет: «Галка, Галка!», а та ведь и на голос летит! И с рук ее ест. А уехала, и эта бедолага уж третий день не ест. У меня не берет. Улетать не улетает далеко, в руки не дается. Да вот она, гляди!

На заборе, в стороне от собачьей конуры, сидела черная птица. Шарик, лежавший с зажмуренными глазами, приоткрыл один, видимо, узнал ее и равнодушно закрыл глаз.

— Они, бывает, и играют. Ой, тут уж и умора настоящая. Галя, Галя! — позвала мать.

Птица склонила голову на один бок, затем на другой. Она явно слышала, понимала зов. Игорь встал, но птица,

едва он сделал несколько шагов в сторону забора, взлетела и затерялась где-то в крышах, в антеннах, зарослях.

— Жизнь у нее перепуталась, вот и мечется бедная, вместо того, чтобы своих-то держаться, — задумчиво заметила мать. — Пойдем, сынок, завтрак готов, — позвала она Игоря в избу, а тому послышалась в ее словах не то тоска, не то укоризна, и вновь защемило сердце, какой-то виноватостью облило душу и неожиданно захотелось ему совсем по-ребячьи прижаться к матери и, проплакав, уткнувшись ей в колени, освободиться от душевного гнета, рассказать обо всем. Но детство уходит от человека, оставляя за собой сожаления и печали.

Мать не могла не заметить перемены в настроении сына и откликнулась беспокойством:

— Идем, идем, сынок, блинов я тебе напекла. Посидим вместе в кое время за столом, — и, как в детстве, подтолкнула его слегка, прикоснувшись худенькой ладошкой к его мощной, загоревшей на городском пляже спине.

Прошло несколько дней. Игорь возился с оградой, подправляя и укрепляя столбики, прибивая горбыли, слеги. Мать, словно помолодевшая, радостно сновала по двору, управляясь по хозяйству: кормила кур, жарила, варила. А по утрам пекла любимые Игорем с детства блины.

Ей мило было слышать, как в ограде вновь стучал топор. Она оторвется от дел на минутку-другую, подойдет в сереньком платочке. Поглядит, расскажет про соседские новости и заторопится, убежит к печке. Разговоры она вела разные. Ответа на них не спрашивала, а то и одергивала сама же себя:

— И что это я тебя чепухой разной заговариваю!

И было ей приятно, когда сын успокоительно отвечал:

— Да говори же, мама, говори, мне же интересно, как вы тут живете...

Но была в их беседах, если беседами это назвать позво-

лительно, какая-то грустная недосказанность. Было что-то, от чего словно таились они друг от друга. Она стеснялась спросить, а он молчал и не видел, а возможно, делал вид, что не видит, как в радости нет-нет да и мелькнет на добром, светлом, совсем почти безморщинистом лице матери тревожная задумчивость, но улыбкой ли, словом ли быстро сгонит ее она, не желая беспокоить своего дорогого гостя, не тревожить его.

— Что, мам, — сидя вечером на крыльце, как-то заговорил сын, — возьму я и останусь тут насовсем. Женюсь. Работать в клуб пойду, и будем мы вместе с тобой жить! А, мам?

Мать сидела рядом с ним и со вздохом, выдавшим ее заветное умолчание, отвечала:

— Хорошо бы, сынок! Аль и вправду невесты не найдешь? Внучонка бы понянчить, а то совсем отвыкну, а то и не поспею вовсе...

— Ну, ты это брось! — Игорь обнял мать. Большой, сильный. Она уткнулась ему в бок и заплакала.

— Это я от счастья, — заторопилась с объяснением. — вот ведь сидим рядком, и все нам будто бы радуется... А ежели бы и в самом деле вместе-то... Сестра твоя навроде бы рядом, а не шибко расторопится. Ну, да бог ее прости, своих-то дел поди не переделать. Вон и Ленка укатила. Я уже к ней привыкла. Такая тараторка. Все баба, баба.

И тут вдруг из-за тальникового куста показалась тонконогая, в коротеньком платьице девчушка и радостно закричала:

— Баба!

— Господи, Ленка! — обрадованно приподнялась со ступеньки мать. Она не успела и шагу сделать, как внучка уже входила в калитку.

— Я говорю маме: ««Поеду, там баба скучает да и Галку кто без меня накормит!». А мама мне говорит: «Подожди, отец в субботу на машине отвезет!» А я на авто-

бусе приехала, — обнимая бабушку, громко объясняла девочка, исподтишка поглядывая на Игоря.

— Вишь, сынок, какая вымахала, — гладя внучку по головке, подвела девочку к крыльцу мать.

— А я тебя узнала, дядя Игорь! — улыбалась Ленка. — Ты мне свою фотокарточку дашь? Я артистов собираю, а твоей все не продают... Я во дворе девчонкам сказала, что в «Далеком доме» танкист — это мой дядя, Игорь. А они не верят: «Если он твой дядя, так почему у тебя его фотокарточки нет? А так каждый может сказать на артиста, что он ему дядя!».

С той ночи, как приехала Ленка, Игорь стал спать на сеновале, старом, крытом щелястыми от дряхлости тесинами. Звезды гвоздиками пробивались в щели. Сухо и забыто пахло сеном. Приветливо убаюкивала Шилова деревенская постель, отгоняя тревоги далеким собачьим лаем.

И постепенно Игорь все больше и больше стал склоняться к мысли, чтобы и в самом деле остаться в родном доме. Он мысленно уже видел себя худруком во Дворце культуры. Руководимый им коллектив добивается побед на смотрах, его имя все чаще появляется в печати.

По обычаю, заведенному здесь издавна, родственники тоже собирают застолье. И однажды к вечеру пригласил Игоря с матерью к себе двоюродный дядька. И опять сидели за столом те же старики, и опять были те же разговоры. На другой день, после вечеринки, Игорь поднялся поздно. Попил молока из кринки, взял топор, лопату, ушел в самый дальний угол огорода. Оказалось, однако, незаметно для себя ограду он уже отремонтировал.

Стояло жаркое ягодное лето. Трава под ногами уминалась с густым шумом, с хрупом, словно бы ее жевала корова. Игорь присел в траву, потом откинулся на спину, вытянулся во весь рост. Высоко над ним выстраивались в чудные картины облака, сбегаясь и разбегаясь. Ощущение было такое, будто бы и он окунулся в эту высокую глубину и задержал вдох, как при нырянье. А когда вздохнул, то-

ской навалилось опять недавнее, спрятанное было в прошедших праздничных днях. С горечью подумалось, что в театре и не вспоминают его сейчас, а что, может быть и рады его отсутствию. И хоть был в своей обиде Игорь не совсем справедлив по отношению к товарищам, но именно в этой неправоте и находил некоторое удовлетворение своему самолюбию.

— Пойду-ка я, мама, до старой рощи дойду, — объявил Игорь, вернувшись из огорода.

— И то, сынок, — отстранилась мать от плиты, — все дома и дома. Сходи, разомнись. Макаровна выгоняла нынче коров, сказывала: «Митька всей семьей сулит в отпуск приехать к концу месяца». Может, встретитесь.

Она без вопроса произнесла последние слова, но он был, этот вопрос, только мать не решалась его высказать. Игорь угадал его и поторопился успокоить мать, на что она благодарно улыбнулась.

— Конечно, мама, встретимся! Мы с ним и по ягоды сходим. Настоящей кислицы тебе принесем с Дальнего ручья!

Рощи, как и деревни, почти не было. Ее стали изводить еще в те времена, когда Игорь бегал в школу. Распахивали под посев все косогоры. Но теперь люди отступились. Ровной земли было вокруг в достатке, и запушились кустиками бугры, позаросли травой, а ближе к шиловскому дому, где косогор подходил мыском к шоссе, поднялся густым колком березовый молодняк, словно бы высеянный загодя старой матерью-рощей поближе к людям, дескать, на память, а возможно, и на сохранение. Шилов помнил эти березки маленькими кустиками и с удивлением разглядел их в шумливой взрослой зелени...

И сама старая роща еще не совсем умерла. Она была жива одной-единственной березой о трех стволах из одного корня, высоко и размашисто устоявшей на краю бывшего поля. Она была такая матерая, что, видать, дрогнула рука у корчевщиков, а может быть, сломался топор о ко-

мель; мощный, коричневый, он молчаливо хранил глубокие шрамы. Береза эта осталась от Игорева детства, она хорошо была видна с крыльца шиловского дома, вот к ней и направился Игорь через всю улицу.

Его окликали, здоровались.

— Значит, мать надумал проведать?

— Да вот, приехал...

— Это хорошо. Самое время. По дому пособишь...

— Трудно ей одной...

— Мы тебя однова по телевизору видели. Ну, прямь точно, как вот ты есть, едрен корень! А наш все летает. Тоже редкий гость. Нынче писал — подполковника получил. Выходит как: высокоблагородие! Едрен корень... Молочка более пей, оно кровь разгоняет, а то все вы бледные...

И шел, шел Игорь по улице, шел к березе. Оказалось, что до нее не так уж и близко. В ложочке, за старым конным двором, он вспомнил: где-то же здесь был пруд. Когда-то они, мальчишки, перегородили ручеек. Конный двор пустовал. От него осталось всего две развалюхи, кособоко выглядывающие из густой заросли крапивы. Она высоко, желто-зелено поднялась, надежно охраняя черные бревенчатые стены. Игорь постоял около развалин и вдруг повернул вправо, решив вначале разыскать то место. Из-за зеленой густоты кустов расслышались ребячьи голоса. На Игоря вдруг накатила шальная радость, и он заторопился на этот звук, продираясь сквозь заросли. Под ногами мягко пружинило. Он раздвинул последние кусты и увидел на полянке, на которой когда-то играли и они, резвятся ребятишки, а внизу, на том самом месте, — маленький взбаламученный водоемчик, в таких же зеленых бережках, будто огороженный тем же дерном. Неожиданное открытие так взволновало его, что он не сразу заметил, что ребятишки настороженно замолкли. Игорю стало не по себе. Он уже пожалел, что помешал им, и его радость тут же улетучилась. И все вокруг увиделось уже обыкновенным, вроде бы даже поблеклым. Он оглянулся на березу, поглядел на верх

бугра. И береза вблизи увиделась другой: редколистой, с обломанной верхушкой одного ствола, с голой, видимо, срубленной на веники, — другой...

Но вдруг из-за кустов с противоположного края полянки появилась Ленка.

— Дядя Игорь! А мы здесь купаемся! Иди к нам! — она бросилась к Игорю, но на полдороге остановилась, задрав голову вверх... В небе появилась птица. Она сделала один круг над полянкой, другой...

— Галя, Галя! — закричала весело Ленка, и ей завторили ребятишки, — Галя! Галя...

Птица, круто спикировав, села Ленке на плечо. Игорь не поверил своим глазам, пока не сообразил, что это та самая галка, про которую ему рассказывала мать.

Птица, склонив голову, внимательно разглядывала Игоря. Ее черные бока синими бликами сверкали под лучами солнца. Видимо, убедившись, что человек, стоящий напротив девочки, зла ей причинять не собирается, птица, равнодушно отвернувшись от него, ухватила клювом Ленку за щеку, и требовательно щипнула раз, другой...

Ленка засмеялась:

— Это она есть просит! — и сердито смахнула ее с плеча. — Ну, Галка, обжора!

Птица взлетела, но тотчас опустилась вновь девочке на плечо. Тут уже кто-то из подружек согнал ее. И Ленка побежала по поляне. Галка полетела за ней. Это, видимо, у них была давняя игра. Побежали за Ленкой и ребятишки. Ленка со всего разгону вдруг остановилась около самых кустов. Птица пролетела дальше, но, потеряв из поля зрения хозяйку, круто развернулась, и, громко хлопая крыльями, вновь опустилась на плечо девчушке, теперь уже сердито щипля ее за щеку...

— Хочешь подержать галку? — смеясь, спросила Ленка, сняв с плеча птицу и подойдя к Игорю. — Она любит, когда ее гладят.

Игорь протянул руку и почувствовал шершавую твер-

дость перьев. Галка завертела головой, ища свою маленькую хозяйку, стала рваться из Игоревых рук. Он разжал пальцы. Птица резко взлетела вверх и на этот раз стала кружиться высоко, не опускаясь.

Удивленный невиданным спектаклем. Игорь поинтересовался:

— Она так и не улетает?

— Улетает, нагуляется и опять прилетает. Она за мной, как собачонка! Гляди! — Ленка побежала опять по полянке, и галка, перестав кружиться, полетела вслед...

Игорю отчего-то вспомнились печальные материны слова, сказанные ею утром на следующий день после его приезда:

— Жизнь у нее перепуталась, вот и мечется бедная, вместо того, чтобы своих держаться...

Он огляделся вокруг. Вода в прудке уже отстоялась, проглядывалась до дна. Светло и тихо было вокруг. Даже на старой березе, на бугре, видно было, не колыхался ни один листочек... Игорь лег на бережок, протянул вниз, к воде, руку, зачерпнул ладонью... Сорвались капли, и зарябилась вода...

Ночью пошел дождь и согнал его с сеновала. Мать, едва растолкав Ленку, перевела ее к себе, а Игорь устроился опять на диване, как в первую ночь. Спал он долго, тяжело. Дождь, не переставая, лил всю ночь, день. Ветер было разогнал тучи, но серая хмарь опять заволокла небо. Тучи тяжело и низко повисли над землей, набухая дождем. Ленка с бабушкой занялись какими-то выкройками. Игорь лежал на диване и читал старую, без начала и конца книжку про царя Ивана, про его распри с боярами, про давнее и смутное время и, помимо его воли, перед ним возникали картины совсем недавнего: полуосвещенные кулисы, озабоченное лицо помрежа, шум аплодисментов.

В окошко словно бы сыпануло пригоршней песка. Это

ветер бросил дождевые капли. Игорю вспомнился птичий стук, разбудивший его в первое утро. И вновь всплыли материнские слова:

— Жизнь у нее перепуталась.

Размышления о птице странным образом вылились в невеселые думы о своей жизни, поколебав уже было принятое Игорем решение, хотя он окончательно так и не решил, что делать.

Ужинали они картошкой в мундирах, запивая ее холодной простоквашей.

— Папа у нас не любит картошку в мундирах. — болтала Ленка, — он говорит, что мама варит ее от лени. А я люблю. При чем здесь лень, баба?

Мать сидела за столом в том самом платочке, в котором ее увидел Шилов в день своего приезда. Бабушка притворно строжась, погрозила внучке:

— Ты, внученька, в родительские дела не встревай! Ну и что с того, что картошку папа не любит. Ты рыбий жир ведь тоже не хочешь пить! А папа у тебя хороший.

— Он нас в будущем году на машине к морю повезет. Ты, дядя Игорь, море видел? — Ленка обернулась к дяде, и, скорчив обиженную гримасу, прохныкала: — А я вот еще ни разу не видела...

— Какие твои годы, стрекоза, — засмеялась бабушка,— увидишь!

— Знаешь, мама, — неожиданно заговорил Игорь, и, видимо, в его голосе было что-то такое, что насторожило мать. Улыбка еще не успела сойти с ее губ, но в глазах уже забрезжила тревога. Она, с молчаливым вопросом взглянув на сына, увидела его озабоченность и заторопилась помочь:

— Поди в дорогу уже собрался? Я вижу, сынок, понимаю. Чего уж тут... Митька, Макаровна сказывала, отписал, что тоже не приедет. Раз вылетели из гнезда, значит, вылетели. Только бы вам, сынок, ладно было в жизни. А мы чего? Мы с Ленкой пока тут будем хозяйничать...

Она тихо коснулась своей маленькой ладонью головы внучки, а Игорю до слез захотелось, чтобы это была его голова. Еще ему захотелось все-все рассказать матери, начиная с того самого момента, как ему поручили злосчастную эту роль, и до того, как он, убегая от самого себя, оказался дома. Ему захотелось сказать матери, что если сейчас он и не совсем тот, которым она гордится перед соседями, то в следующий приезд он будет именно таким. Однако вместо всего этого Игорь только невнятно пробормотал:

— Не могу я по-другому, мама.

Мать все это понимала. Тихо заметила:

— От своей жизни, сынок, не уйдешь. Самое главное, чтобы она у тебя была не во злобу людям...

Ленка не очень понимала бабушкины наставления, ее сейчас занимало другое:

— Дядя Игорь, ты опять уезжаешь в кино сниматься?— блеснула глазками Ленка. — А про фотокарточку ты не забыл? А то девчонки не верят мне!

— Если бы я твою птицу сам не увидел, то тоже бы не поверил твоим рассказам, — неожиданно веселым голосом сказал Игорь. — Ну, а для подружек твоих мы что-нибудь придумаем! Придумаем, Ленка, обязательно!

ПОЕХАЛ ОН К ЧЕРНОМУ МОРЮ

Поезд катил медленно. Серое вагонное окно расчерчивали дождевые капли. Дорога предстояла дальняя и по тепершним самолетным временам долгая. И потому пассажиры устроились основательно. Спали крепко и покойно, как дома.

А Григорий Иванович Шевцов не спал. Он стоял в тамбуре у открытого окна и курил. Был он роста выше среднего, узкоплеч, коротко стрижен. Тонкощекое лицо с чуть округленным подбородком не скрывало, что пятьдесят лет уже прожиты. И прожиты, видимо, нелегко.

Думалось ему в то утро сразу о многом. Но прежде всего о том, что вот выпало поехать в такую дальнюю дорогу в самое неподходящее время. Надо и шифер на крыше обновить, и непременно поспеть в Листвянку. Еще он вспомнил вдруг о рештаках, которые до самого его отъезда так и не завезли на уклон, и о том, что у Литвинова родилась двойня. Словом, думалось обо всем, что осталось где-то далеко и отодвигалось все дальше назад.

В отпуск Григорий Иванович должен был пойти только через месяц. В августе. К этому на участке давно привыкли. Несмотря на то, что каждый год утверждался новый график, без обиды всякому отпуск непременно давался то летом, то зимой, за Шевцовым август был как бы закреплен. Все на участке это знали и знали причину, поэтому никто не возражал.

А тут вдруг вызывают его в шахтный комитет. Прямо на наряд позвонили.

— К чему бы? — спросил Шевцов у начальника. А тот плечами пожал: дескать, не знаю, хотя видел Григорий Иванович, по его усмешке видел, что все тому известно, но раз молчит — пытать не стал. Во-первых, это не в его правилах, во-вторых, за ним грехов не водилось, так что бояться было нечего.

Председатель шахткома, русоволосый, кудрявый, посадив его за стол, предложил закурить и, загадочно улыбаясь, полюбопытствовал:

— Как со здоровьем, Григорий Иванович?

Шевцов коротким жестом открытой ладони от сигарет сдержанно отмахнулся, достал свой «Беломор», прикурил от председательской зажигалки и в свою очередь спросил, изучающе глядя в глаза председателю:

— А чего ему сделается, Петр Софронович, — и усмехнулся, — от молодых не отстаю, по больницам не хожу, на лекарства денег не перевожу.

— Ты, Григорий Иванович, помнишь наше обещание? —

председатель сощурился, вроде как сигаретный дым ему в глаза попал.

Шевцов ответил на вопрос вопросом:

— Это что ли про квартиру Маликову? Об этом разговор помню, в прошлом месяце, когда мы с участковой комиссией были.

Председатель резво встал со своего стула, улыбнулся:

— Каюсь, каюсь! Наша вина, просмотрели. Но будь спокоен, Григорий Иванович, с этим все в порядке. Так что будь спокоен...

— Мне что, — Шевцов аккуратно отряхнул пепел в пепельницу. — Надо мной не каплет, а у Маликова шестеро, Петр Софронович, сам знаешь...

— Да говорю же тебе, все в порядке, — весело перебил его председатель, — не об этом речь. Забыл что ли, как бригаду Тишкина зимой чествовали? Ну, за освоение новой техники, не помнишь?

— Отчего же забыл? — Григорий Иванович по правде сказать, не мог сообразить, куда гнет председатель, но виду не подавал. — Память вроде не отшибло... Тишкин что? Умеет работать парень. Его вот чуток и надо было подтолкнуть. Когда голова соображает, руки будут работать!

Председатель снова присел напротив него, веселый, кудрявый.

— Да нет, ты вспомни, что он сказал, вспомни. Не нас, а кого? Григория Ивановича благодарить прежде всего надо! То есть тебя, так? Ну, вспомнил?

— Да к чему ты этот разговор ведешь, Петр Софронович? — не утерпел Шевцов.

— А к тому, — председатель вновь поднялся и подошел к сейфу, — что шахтком тогда пообещал тебе вырешить бесплатную путевку на курорт. И позволь мне, Григорий Иванович, выполнить приятную миссию и вручить ее тебе. — Председатель протянул Шевцову розовый листок. — На самый берег Черного моря, — торжественно объявил он.

— Не приучен я к курортам. Хворости не имею, к морю непривычный, — попытался отшутиться Шевцов.

А председатель не слушал:

— Мы путевку на юг обещали? И потом, ты сколько в сельских шефах у нас ходишь? Дай бог памяти, пятый год? И все это за счет отпуска. Не довольно ли? Помощники у нас для этого дела и без тебя найдутся. А ты уж давай-ка по-настоящему отдыхай. Это, считай, по линии охраны труда, понял?! — весело заключил председатель, — и поезжай. На том разговор и кончим.

Тогда и встал вопрос о сроках отпуска. А дело в том, что действительно Шевцов уже который год в августе уезжал в деревню Листвянку на уборку хлеба. История эта давняя, длинная.

Как-то раз съездив по разнорядке в деревню на помощь, привязался неожиданно к этому делу всей душой. То ли сказалась крестьянская кровь, то ли и вправду шахтеру под солнышком мило поработать, душу погреть. Человек до техники охочий, окончил Шевцов без отрыва от проходческого дела курсы трактористов и с тех пор каждое лето в отпуск уезжал в Листвянку.

Там у него и друзья завелись. У одного из них — бригадира полеводов Важенина — он и квартировал всегда. И домашние, и на работе к этому привыкли.

Григорий Иванович был смущен.

С одной стороны, Григорию Ивановичу и лестно было, что к нему в шахткоме внимание такое проявили, хотя славой он обойден не был, правда, и не кичился ею, носил с достоинством, полагающимся его рабочему званию и вообще человеку почтенному, уважаемому. С другой стороны, и в самом деле, может, есть такой болящий, которому это море край потребно. К тому же и дел у него по дому много. Хотел он их за неделю справить, прежде чем отправиться в Листвянку.

Но сыновья заявили, что сами все решили справить. Так они ему заявили, да еще предупредили, чтобы не позо-

рил он их перед людьми, не отказывался бы от путевки, а ехал бы и по всем правилам и законам отдыхал. Вот и едет в московском поезде вторые сутки шахтер Григорий Иванович Шевцов.

Вагон постепенно начинает просыпаться. Прошла проводница, поинтересовалась, как спалось и чего рано поднялся. Вышел из соседнего купе мужчина с папиросой. Вместе покурили, поговорили о погоде, предстоящем урожае. Этот разговор у самых не знающих друг друга людей всегда интересным выходит. Потому что любого за душу берет. Проснулись и соседи его по купе и совсем уже оживились все, когда понесли чай.

Григорий Иванович заказал два стакана. Достал варенья, яйца. Нарезал хлеб и пригласил к столу соседей, двух парней. Те тоже положили на стол сырки, печенье, яблоки. Завтракали дружно, не торопясь.

Ребята рассказывали, видимо, слышанные ими героические истории из будущей их студенческой жизни, а Григорий Иванович, усмехаясь, слушал их, но не осуждал: пусть и покрасуются друг перед дружкой, дело молодое.

Незаметно доехали до Москвы. Нужно было пересаживаться на другой поезд. И потому, как с самого сорок первого года не бывал Шевцов в столице, а до отхода его южного поезда было часов шесть, надумал Григорий Иванович на Кремль поглядеть. Чтобы долго не плутать, обратился с вопросом к милиционеру и тот объяснил ему, что через метро прямо с Казанского вокзала он очень просто попадет на Красную площадь.

Спустился Григорий Иванович под землю к поезду, исподволь дивясь красоте подземных дворцов. Промчал его поезд сквозь туннель. И вот уж он на площади. Вокруг него смех и слова на непонятных языках, а он стоял и смотрел с жадностью вокруг, смотрел, будто чего-то силился разглядеть на булыжниках, которыми вымощена Красная площадь, будто искал на них и свой след. Пошел через

площадь степенно, медленно, не замечая встречного людского потока, омывающего его.

Постоял он у Вечного огня. Вспомнились ему ребята из их четвертой роты, с которыми он уходил в сорок первом отсюда на фронт. Спазмы сдавили горло при воспоминании.

Через несколько часов, когда Шевцов уже лежал на полке вагона, увозившего его к Черному морю, он мысленно видел себя около Царь-колокола и слышалась ему непонятная речь молоденькой рыжей курносой девчушки, объясняющей что-то группе мужчин иностранного происхождения. И хоть неясна была ему эта речь, но, казалось, что он понимал ее, и от этого стало Григорию Ивановичу как-то даже смешно и удивительно, потому что иноплеменной речи слышать ему не доводилось — фронт не в счет. И странным казалось, что предметы, ему известные, оказывается, могут называться словами непонятными, чужими и смешными на слух.

Санаторий, в котором он стал жить, стоял на берегу моря. Оно билось с разбега о камни, разворачивая волну гребнем назад, серебристо разлетаясь в воздухе. Никогда еще не видел Григорий Иванович так много воды, никогда не видел так много голых людей, лежащих, стоящих, прыгающих около нее...

Но все это его почему-то не особенно удивило, как и разлапистые пальмы и мужики в коротких штанишках. Но вот кто его действительно поразил — так это павлины.

Зверей и птиц всяких он нагляделся множество в передачах «В мире животных», но такое чудо ему и не снилось. Он вошел в парк, цветущий всевозможными цветами. И маленькие розовые сплетались над скамейками благоухающей крышей, а большие были словно из воска, торжественно и надменно держали раскрытые чашечки встречь жгучему солнцу. Разноцветные рыбки плавали в фонтанном бассейне, выстраиваясь в ряды, рассыпаясь в стороны, устраивая драчки из-за крошек, которые швыряла им ма-

ленькая девочка. И в это время он услышал какой-то гортанный глуховатый крик. Григорий Иванович пошел в ту сторону, откуда донесся этот звук, и остановился. Дивная, настоящая райская птица, величаво выступая из густой зелени, несла невообразимой красоты наряд. Над ее маленькой головкой светилась в лучах корона. Но вот птица раскинула, словно напоказ, разноцветный, блестящий, с серебром драгоценных перьев кружевной хвост. Он лег на изумруд зелени, сказочно переливаясь и искрясь. И тут не удержался от восторженного вздоха шахтер и понял, что пришлось ему увидеть такое природное чудо, от которого радостью наполнилась душа.

Спалось ему в ту ночь легко. Неясные, но добрые сны посещали Шевцова, и проснулся он беззаботным.

И началась непонятная легкая и свободная от дел веселая жизнь: с редкими, но приятными заботами отпускника.

Больше всего нравилось Григорию Ивановичу пиво из автоматов на берегу моря. Он не был заядлым пиволюбом, но с самого утра здесь велись интересные разговоры: и о новом приезде к нам зарубежных премьеров, и о футболе.

Безусловно, мнения высказывались авторитетные. Видно, люди знающие вступали, порой разгорались целые баталии. Слушая, Шевцов уважительно удивлялся тому, какие все образованные и грамотные, но сам только однажды рискнул ввязаться в разговор. Спор зашел о шахтовом газе и вообще об условиях работы шахтеров.

А однажды, на третий день его отдыха, и совсем удивительное произошло около этих автоматов. Встретил тут Шевцов Николая Семикрылова, горного мастера с их шахты. Работали они на разных участках, и знакомства было всего, что «здравствуй» да «прощай», а обнялись, как братья. Великая сила — землячество! Семикрылов познакомил Григория Ивановича с женой: коричневой (они уже три недели отдыхали), светлоглазой, улыбчивой и доброй женщиной. Она Шевцову тоже обрадовалась, стала приглашать в гости. Семикрыловы снимали комнату в доме, стоя-

щем в густых зарослях дикого виноградника и красноцветных неизвестного названия высоких кустов.

Застолье было веселое. Рассмешил их Шевцов рассказом о том, как он очутился в этих краях. Потом Семикрыловы проводили его до самого пансионата и договорились, что в следующие дни они ему покажут все достопримечательности. Сходят в самый интересный ресторан, который расположился на самой вершине высокой зеленой горы, съездят на экскурсию по морю.

Проводив гостей, Шевцов вышел на балкон. Вскоре пришел его сосед по номеру, металлург из Череповца, молодой энергичный парень.

— Плохо ты загораешь, Григорий Иванович, — глядя на белую кожу Шевцова, заметил сосед. Его мускулистое крепкое тело под светом люстры ярко блестело. — Морское солнце — лечебное. Да и глядеться будешь привлекательней, а? — Он засмеялся.

Улыбнулся и Шевцов жизнерадостной молодости этого рабочего парня.

— А поехали с нами завтра, — предложил тот. — Компания великолепная. Берем с собой мяч, поедешь? — вдруг без всякого перехода заметил: — Что-то я проголодался, понимаешь? Ем, ем, — и вот, — он виновато развел руками.

А Григорий Иванович, усмехнувшись и с наслаждением глядя на так напоминающего его сыновей парня, объяснил:

— Это в тебе силушка играет...

Проснулся Шевцов от того, что его что-то разбудило. Сон не сам отошел. Что-то нарушило его, поэтому и пробуждение было неприятное. Еще было темно. Сосед крепко спал, о чем свидетельствовало его ровное дыхание. Григорий Иванович встал, нашел в столе папиросы, спички и вышел на балкон. С моря донесся знакомый теперь уже запах водорослей. Город спал в тишине, она изредка нарушалась шумом такси, проезжающих по невидимому из-за стены деревьев шоссе. Но нет, не машины разбудили его.

И вдруг он услышал. Снова — гортанный, ищущий ответа, тревожный крик. Сразу и не сообразил, что это такое. Только понял, что от этого крика он и проснулся. Крик повторился. И хотя теперь Шевцов вспомнил, что он его слышал в парке, что это кричит павлин, все же неприятное ощущение не покидало его. И долго он еще не мог заснуть в ту ночь.

Утром пошел дождь. Был он теплый и долгий. Целый день Шевцов провел в помещении. Играл в домино, читал газеты. Дождь прекратился совсем уже к вечеру. И Григорий Иванович вышел к берегу моря. На этот раз серые громады волн неистово бились о берег, и голос моря был неприветливым и хмурым.

А следующий день начался с веселого пенья птиц, со светлого солнечного луча, заглянувшего спозаранку в открытую балконную дверь.

Пристрастился он было к игре на автоматах. В фойе цирка стояли такие железные ящики, в которых после того, как опустить монету, начинали летать самолеты, бегать автомашины, плавать подводные лодки. Одни надо было посадить, на вторых преодолеть препятствие, третьи потопить. Занятно все это было, и время быстро проходило.

Около автоматов всегда была очередь. Однажды стоял Шевцов за лысым бородатым мужиком в коротких штанах. Азартно и с каким-то остервенением, уж больно всерьез нажимал тот на ручку автомата, производя выстрелы по подводной лодке. И так у него это выходило по-взаправдашнему, что стало Григорию Ивановичу не по себе.

Может быть, он представил свои, привыкшие и к топору и лопате ладони, сжимавшими ручку автомата, представил, как бросает двадцатники в эти ненасытные ящики, и в нем что-то запротестовало. Сам не зная почему, Шевцов, торопливо выбрался из прохладного здания под гладкие и жгучие лучи пальмового дня.

И снова шел Григорий Иванович к морю, пил пиво. Но почему-то неинтересными вдруг стали здесь разговоры. То

ли разъехались самые знающие спорщики, то ли уж все было переговорено. А ночью опять слышал крики павлинов. Но он уже не вставал. Лежал, не спал. И как бывает в такие часы, думы приходят из неожиданного далека, мешаются и путаются, пока в путанице этой не высветит успокоительная звезда верного направления.

То ли во сне, то ли в бессоннице увиделся тоскливой радостью его дом на Партизанской улице, теперь уже, должно быть, с перекрытой без него крышей. Увиделся ему и лиственский кум, который на прошлый покров привез Шевцовым гуся.

Утром Григорий Иванович попробовал было рассказать своему веселому соседу про гуся, про саму Листвянку. Про то, что есть у него там персональный комбайн и что уж совсем скоро начнется в Сибири косовица. Но сосед как всегда, куда-то торопился и, не дослушав, веселый и яркий выбежал из номера.

А Шевцов после завтрака пошел на прием к главному врачу пансионата. Молодой, в белом халате и золотых очках, тот никак не мог понять сидящего перед ним пожилого мужчину и, справедливо защищая честь своего предприятия, все добивался услышать причину его просьбы.

А Григорий Иванович просил отпустить его домой. Нет, у него нет претензий к обслуживающему персоналу и очень он доволен кухней. Он даже попытался было сослаться на павлинов, но, не умея всего этого объяснить, заговорил о Листвянке. Но и эти слова были также малоубедительны. Молодой врач никак не мог взять в толк, почему этот человек, у которого впервые в жизни отдых на берегу прекраснейшего моря, хочет уехать в какую-то Листвянку, хотя его тут никто не обижал и ему очень нравится пить пиво из автоматов.

Наконец, доктор не выдержал и очень сердито поставил свою подпись на той бумаге, по которой выходило, что он, Шевцов Григорий Иванович, имеет право катить на все четыре стороны.

Шевцов, видя расстроенное лицо молодого человека, сам немного расстроился, не в его характере было досаждать людям. Он снова заговорил о том, как всем был здесь доволен, но заторопился и, не сказав «до свидания», быстро вышел из кабинета.

Еще один день прошел у него в хлопотах о билете, и вот он уже летит. И полет, а был он ему в новинку, и громады самолетов в аэропортах, и удивительное превращение времени, когда после того, как он сошел по трапу самолета уже в Кемеровском аэропорту, в ушах все еще глухо шумело море, все вселило в Шевцова необъяснимую радость.

Через два часа он уже сидел в электричке, везущей его в родную сторону. День был будничный, и народу было немного. Устроился Григорий Иванович удобно, с интересом глядел в окно, за которым мелькали станционные постройки, махали зелеными крыльями деревья.

На разъезде он сходил один. Едва спрыгнул со ступенек, как, гукнув, электропоезд покатил дальше.

Маленький домик в окружении хозяйственных построек, как и прежде, глядел на мир желтыми ставнями. Женщина с желтым флажком, увидя Шевцова (пассажиры тут, видимо, редкость), направилась было к нему, но Григорий Иванович уже шел по дорожке влево от домика. Там, в сизых зарослях полыни, дорожка разветвлялась на три. Ему в Листвянку надо было шагать по средней тропинке.

Шел он быстро, но не торопясь. Думал, как обрадуется кум. Как они будут вести с ним длинные вечерние разговоры, и он посвятит кума в шахтерские дела-заботы, а кум, конечно, о своем: о земле, об урожае. Думал и о том, что, может быть, завтра и он выйдет в поле. Хлеба, Григорий Иванович слышал разговоры в электричке, в нынешнем году отменные.

Два километра — и вот он, пруд. Где-то, невидимый, звонко, долго, с удовольствием прокричал петух.

— Ишь ты! — вслух сказал Шевцов, вспомнив павлинов, и рассмеялся.

ОБЫКНОВЕННАЯ СКАЗКА

Лев лежал в клетке, совсем по-кошачьи зажмурившись, положив голову на передние лапы.

— А взаправдашние львы где живут? — спросил Лешка отца.

Они стояли перед клеткой со львом в передвижном зоопарке, совсем недавно обосновавшемся в городе.

— Более взаправдашних, чем этот, не бывает, сынок, — ответил весело Денисов.

— Нет, бывает, — упорствовал мальчик. — А в мультиках он живет не в клетке! Значит, взаправдашний?

— Взаправдашний ты хочешь сказать — свободный, — разъяснил Денисов, — живет в Африке...

— А мы поедем в Африку?

— Это очень далеко.

— За тридевять земель? — вспомнил Лешка сказку.

— Да нет, чуточку поближе! — рассмеялся Денисов. Бесконечное Лешкино вопрошайство развеселило его.

Дома, рассказывая жене о походе в зоопарк, Денисов со вздохом сказал:

—В наш век трудно найти такое чудо, которое могло бы удивить ребенка. Видишь ли, ему живой лев — не лев...

И снова началась рабочая неделя, и вновь одолевали заботы, а осень дразнилась грибами, развалисто рассыпанными на базарных столах, рвалось сердце в лесную тишину. Однако в пятницу, когда Денисов объявил, что собирается по грибы, жена его остудила встречным заявлением: пришло из Васильевки, пригородной деревни, письмо с приглашением на свадьбу каких-то дальних родственников.

— Подумай, тащить ребенка невесть куда!

— Всего-то километра три пешком, — урезонила мужа Денисова.

Утром в субботу они сели в трамвай, и он привез на городскую окраину. Сойдя на конечной остановке, Денисо-

вы свернули на небольшую улочку, затем вышли на сжатое уже поле. Здесь Денисов, подхватив сына, посадил его себе на плечи, тот ухватился за отцовские уши, как за велосипедный руль, и семейство двинулось поперек поля, по которому изогнулась узкая тропинка. Она неожиданно вдруг надломилась, упала обрывом вниз, в береговой галечник, и потерялась. Денисовы остановились, отец, высоко подняв сына над головой, осторожно опустил его на камни. Усохшая за лето Кондома непривычному глазу горожан казалась большой, тревожащей. На берегу было тихо и пустынно. За речкой разноцветно, словно бы по небу ковер, густел черемушник, вплотную к которому притулился маленький паром. Маленький же (таким он виделся с этого берега) грузовик, выехавший из-за кустов, с тарахтением по бревенчатым сходням забрался на паром...

Предстоящая прогулка вдруг представилась Денисову малопривлекательным занятием, и он уже было хотел об этом как-нибудь помягче сказать жене, как обнаружилось, что пропал Лешка.

Но не успели родители и напугаться как следует, как до них донесся его радостный, визгливый крик:

— Ма-а-ма!

Оглянувшись на этот крик, родители увидели приближающуюся к ним лошадь, запряженную в телегу, и бежавшего ей навстречу Лешку. Затем он повернул и побежал теперь уже в сторону родителей, все время крича:

— Глядите, живая лошадка! Живая лошадка! Совсем живая, как в цирке.

Лошадь стояла у самых сходен. Лешка, все еще не приходя в себя от восторга, осторожно подвигался к ней, оглядываясь на родителей. Возница, парень лет шестнадцати — длинные его, выгоревшие на солнце волосы запутались в крупные кудри — соскочил с телеги и стал поправлять сбрую на лошади. Затем, подойдя к самой воде, приложил ладони к губам и закричал: «Полундра!». С реки не отзывались.

Возница вернулся к телеге. Подошел, совсем осмелев, вплотную к лошади и Лешка.

— А ты иди, погладь! — великодушно разрешил возница. — Она добрая! Не бойся!

Денисов подбадривающе кивнул, заметив по сосредоточенному взгляду сына, как борются в нем страх с желанием. Извечное мужество любопытствующего первооткрывателя заставило мальчика робко протянуть руку, коснуться прохладных лошадиных ноздрей. Он осторожно провел ладошкой по длинной лошадиной щеке и, более не отрывая руки, водил ею вверх-вниз по темному бархату лошадиной морды...

— Мам! — обернулся он, счастливый, к родителям. Лошадь стояла, покойно смежив веки.

Переехав реку, Денисовы распрощались со своим попутчиком. Опять посадил отец Лешку себе на загривок, и по тропинке, круто свернувшей от реки в черемушник, они вышли на пустынную дорогу, густо покрытую мягкой коричневой пылью. Несколько минут не прошло, как за спиной у них послышался конский топот. Свернули на травянистую обочину. И увидели — их догоняет знакомый возница, объехавший прибрежные кусты по пологому извозу.

— Вам не в «Зарю»? — натянув вожжи, остановил парень лошадь около Денисовых. Он сидел на телеге боком, свесив ноги. — А то подвезу, почти до самой деревни по дороге, — парень спрыгнул с телеги, разровнял лежавшую солому, посадил обомлевшего от радости Лешку, дождался, пока усядутся старшие, и, дернув вожжи, на ходу вскочил сам.

— Глядите! — закричал в это время Лешка. — Да вон туда, на поле...

Мальчик вытянул руку в сторону. Там по жнивью бежал журавль. Раскачиваясь на высоких тонких ногах, он убыстрял бег. Вот выпустил откуда-то с боков крылья, словно бы для пробы взмахнул ими раз, другой... Еще взмах и, ка-

залось, упал грудью на голубое, упругое у самой желтой стерни. Но не коснулся ее, а поплыл вверх, в синь.

— Кто это? — задрав голову и следя полет птицы, с удивлением спросил Лешка. — Кто это такой, а?

— Да это же обыкновенный журавль, — хлопая вожжами по лошадиным бокам, с напускным равнодушием объяснил возница, явно польщенный растерянностью горожан. — Они здесь жируют.

— А знаешь, — почему-то шепотом сообщила жена Денисову, — я, кажется, и не видела вот так, живьем, журавля... Настоящего.

Денисов обнял ее за плечи, и они втроем высоко задрали головы. А журавль, поднимаясь все выше и выше, к кругло катящимся по небу облакам, слился с ними, растворился, будто и не было его совсем, будто это чудо им только показалось...

— Он домой полетел? — спросил Лешка.

— На зимовку, — сказал возница. — В Африку...

— За тридевять земель, да? — недоверчиво уточнил мальчик и снова запрокинул головенку, вглядываясь в небо. Там по синеве быстро и широко катились белые огромные облака.

БЕРЕЗОВАЯ ВЕТКА

Сосульки висели так низко, что Люда могла достать их прямо рукой. Заходила за угол избы, там снег еще не проваливался. Весь в дырочках, с блестящей серой ледяной корочкой сугроб вспузырился под солнечными лучами, с него-то и дотягивалась Люда до сосульки.

Тимка с Валькой, соседские ребятишки, палкой отбивали сосульку и хотели ее съесть. Кому не хочется попробовать сосульки? Но у ребятишек не получилось. Помешала старшая сестра.

Люде мешать было некому. Старшей сестры у нее нет.

Мама с папой далеко — на БАМе. А живет Люда с бабушкой. Но она сама не стала есть сосульку. Пожалела. Уж очень и синими, и оранжевыми, и даже зелеными цветами горит под солнцем. Да и побоялась заболеть. Она однажды попробовала, какого вкуса снег. Он казался таким белым и сахарным. А к вечеру горло заболело, да так, что в школу пришлось не ходить! Люда очень любит ходить в школу. Хорошая у них школа.

Медведевка—так их деревня называется—пристроилась в тайге на берегу речки Светляги. Сразу же за огородами грибы, там же сенокосы, ягодники. До ближайшего поселка, где совхозная контора, пять километров, это если по дороге. Только медведевские чаще ходят тропинкой через тайгу. Здесь ближе, да и веселее, особенно летом.

Школа в Медведевке стоит в центре, и от нее по обе стороны по десять домов. Учеников всего восемь человек. Один в первом, трое — во втором, один — в третьем, и трое— в четвертом. А учительница одна. Очень любят ее ребятишки. Молоденькая, красивая, в догоняшки с ребятами играла. Новый год вместе встречали. А вот на весенние каникулы проводила она их, каждого обняла, поцеловала, взяла в руки чемодан и ушла из Медведевки по таежной тропинке...

Скоро каникулы пройдут. А как они учиться станут? Люда вчера с Тимкой и Валькой забегали в школу, там же одна сторожиха, тетка Трофимовна: «Идите, — говорит, — как время придет, я вас позову».

Что-то нынче солнышко из-за черной тайги не показывалось. Вроде и не было вчера весны, и не скатывались вчера с сосулек разноцветные шарики! Задуло, замело! Из дому не выглянуть! Соседнего крыльца не видать. Сидит дома и Люда с бабушкой, топят печку. Одни сидят. Печка тепло потрескивает. Рассказывает бабушка всякие истории, а спицы так быстро мелькают у нее в руках, что если на них долго смотреть, то можно увидеть маленькие-маленькие искорки.

И день, и другой бьется в окошке пурга. Хорошо Люде с бабушкой. Правда, немножко скучновато.

Но вот поутру, когда Люда проснулась, и на окне по-прежнему цвели ледяные цветы, стука снежинок по ту сторону стекла она не услышала. Девочка взобралась на стол и стала дышать на цветы. Один из них потускнел, она чуть тронула его пальчиком, и открылось ей маленькое окошечко! Подула — еще окошечко увеличилось. Приложилась к нему Люда глазом и увидела — на рябиновой ветке, совсем как в книжке на картинке, разукрашенный снегирь сидит и качается. Словно бы радуется: прошла зима, прошла!

У бабушки и завтрак готов. Сели за стол. Она и говорит:

— Автолавка после такого бурана нескоро к нам пробьется, так что пойду-ка я на усадьбу (так в деревне все говорили) — сахару к чаю, булочек купить.

Люде очень хотелось помочь бабушке. Она же большая, учится в третьем классе!

— Давай я схожу, бабушка! Я же быстро, ты знаешь. Ходила я и с Валькой, и одна осенью ходила на усадьбу. Отпусти, бабушка!

Платок на внучку бабушка сама повязала, надела рукавички. В одну руку дала сетку под продукты, в другую зеленую «тройку» денег, в рукавичку спрятала, наказала, чего купить, на крыльцо проводить вышла.

Девочка из-за калитки обернулась, помахала бабушке и пошла через деревню. Снег глубокий, легкий, пушистый. Трактор его с утра примял. Она и шла по следу. Только сразу за оврагом сворачивал этот след в тайгу. Около поворотка стоят березы. Высоко в небо стоят. Голову запрокинула поглядеть — закружилась голова. А под березами заячьи следы. Все вокруг истоптано. Дорога шла через березняк. Снегом прикрытая, но приглядишься — все одно видно. Нога неглубоко проваливается, идти удобно. Вокруг старой березы, как дети малые, вербочки внизу прижались. Не утерпела девочка, свернула в снег: на вербочки глянуть.

Они стоят, в кучку сбились, притаились, а у самих на почках беленький пушок обозначился. Мягонький. Высоко в коричневых березовых ветках свистит птичка. Хотела разглядеть ее Люда, да где там. Она будто в солнечных шариках, разбросанных по веткам, спряталась. Постояла девочка и пошла дальше.

Дорога из лесочка вытянулась к полю, по нему закружила. Местами совсем снега нет. Местами сугробы по пояс. Идти труднее стало, но все равно весело. Ветерок налетает, от пурги, видать, еще заплутал, заигрывает. Шаркнет по лицу снежком — иголочками кольнет, как елочка, если ее понюхать. Идет девочка по полю. Будто шарик катится. Шубка на ней с капюшоном. Шаровары теплые поверх валенок, чтобы снег не попал... Идет девочка. Она привычная. С самого малого возраста живет в Медведевке. И по ягоды с бабушкой ходит, и на совхозном поле своей школе помогает. Идет по полю маленький человечек. Главное, забота у нее важная. С заботой всегда интереснее жить.

Отдохнуть остановилась. Оглянулась. Берез уж не видать. Значит, скоро усадьба. А в это время и взыграл ветерок. Ждал-подкарауливал. Как взмахнул, бросил иголки-снежинки в лицо, дыхание перехватило. Рукой лицо закрыла от неожиданности. Потом рукавичку сняла, глаза протереть, а тройка и упала на снег.

Подхватил ее ветер и покатил по полю... Люда за ней побежала. Лежит та на снегу — рукой достать можно. Сошла на снег с дороги Люда, потянулась рукой, а ветер того и ждал. В тот же миг подтолкнул бумажку дальше и покатил, покатил по сугробам... Пока та совсем из виду не пропала.

Выбралась на дорогу девочка и заплакала. Как же ей теперь в магазин идти? А домой? Бабушка не станет ругаться, она добрая, да самой ведь стыдно. Совсем как маленькую ее ветер обманул. Так горестно размышляла Люда, а сама шла вперед, пока, поднявшись на бугор, не

остановилась подле разлапистой сосны, к которой выходила таежная тропинка из Медведевки. Тропинка была торная. Следы и пешие, и лыжные. До усадьбы было уже совсем близко. Вниз спуститься через распадок, вправо повернуть — и пришла. Только с чем же она туда придет?

Заплакала Люда от обиды и повернула назад, в Медведевку. Однако пошла она не по той ветреной дороге, а тропкой, чтобы про обиду не вспоминать.

От сосны до кустов черемухи, потом березки попались. А вот пихты зазеленели. Не заметила Люда, как вошла она в таежную тишину. Ветра не слыхать. Лежит снег на пихтовых ветках шапками. Да вдруг со вздохом возьмет и осыплется. Но это совсем и не страшно...

Идет она, совсем успокоилась. Вдруг что это такое? Чуть впереди сбоку от тропы, костер горит! Она еще и сообразить не успела ничего, как за спиной у себя услышала:

— Подходи к огоньку погреться!

Испугалась, оглянулась. Большой бородатый дядька в полушубке, с охапкой хвороста в руках стоит.

— Подходи, девочка, — пригласил вновь. Положил хворост на землю, к Люде подошел, наклонился, в лицо заглянул. — Как же ты, пичужка, одна по такой погоде ходишь?

Голос у него хриплый, сердитый.

— Вижу, вижу, не от добра ты сюда забралась. И не страшно? Лесных зверей да мороза не боишься?

Он подвел Люду к костру, а она заплакала. Немножко от страха, немножко от того, что про злую шутку ветра вспомнила. Дядька хворост стал в огонь подкладывать.

— Реветь-то погоди. Сосульки вырастут. Расскажи все по порядку.

Глядит на него Люда. Чего же он один в лесу в эту пору? На охотника не похож: ни ружья, ни собаки. Борода страшная, да и голос грубый. А дядька все не унимается.

— Вдруг да я твоему горю помогу? Я, может быть, лесовик? Слыхала про таких? — А сам достал из мешка большой, цветами разрисованный термос, открыл и из него в

кружку чай горячий наливает. Кругом снег, зима, а у него в мешке горячий чай. Люде кружку протянул. Попробовала, совсем как у них дома — с душицей.

— И откуда же ты идешь, снегурочка?

— Не снегурочка я, а Люда из Медведевки. А лесовики только в сказках бывают, — осмелела девочка.

Дядька громко, так, что даже снежок с веток посыпался, захохотал.

— Они везде бывают, снегурочка. Ну так что у тебя за горе-беда?

Тут опять у нее слезы побежали. Рассказала она все: и как бабушка ее провожала, и как она по полю шла.

— Нисколечко не обманываю, — сквозь слезы, всхлипывая, закончила Люда свой рассказ. И ей очень захотелось, чтобы добрые лесовики-волшебники жили не только в сказке.

— Знаю я того ветра-баловня, — сказал дядька, поглаживая бороду. — Признайся, бывает, что ты бабушку не слушаешься? — вдруг построжал он.

Люде опять стало страшно, и она опять собралась было зареветь, но дядька предупредил:

— Без слез только! А то нам ветра не перехитрить. — И стал подбрасывать хворост в огонь. Рыжие хвосты высоко вспрыгнули, по лесу разнесся веселый треск. Совсем тепло стало. Почти как дома у бабушки. Дядька в сторону отошел и от маленькой березы отломил крохотную веточку. Подошел, над огнем постоял и ветку в огонь кинул. Лежит она на угольках, как на розовых простынях. И вдруг от удивления у Люды глаза расширились. Одна почка лопнула, другая, третья. И, как цыплята из скорлупы, вылупились зеленые листочки. Белый снег лежал на земле, на ветках деревьев, на той же березке, от которой дядька оторвал ветку, а в костре, совсем как в сказке, происходило чудо. Мелькнула зеленая весна. И, как в сказке, тотчас исчезла. Как ни старалась Люда, но уже не могла разглядеть березовую ветку среди множества угольков.

— Ну, что скажешь, разве мы с тобой не волшебники? — прохрипел дядька. При этих словах он взял в руки свой большой мешок. Люде стало страшно. А он запустил руку в мешок, пошарил там и приказал:

— Подставляй-ка свою сетку!

Из мешка вынул пачку сахару, банку сгущенного молока, белый батон и все это сложил в Людину сетку. Она растерянно молчала, потом сообразила:

— У меня же денег нету!

— Ты разве не знаешь, что волшебникам деньги не нужны? — строго спросил дядька и поинтересовался: — А дорогу домой ты знаешь?

Вдруг рядом с Людой на ветку сел снегирь. Покачался, вроде бы в глаза Люде заглянул и полетел в сторону Медведевки.

— Вот тебе за ним, — указал дядька. Да Люда и сама знала, по тропке идти — не заблудишься.

Все, конечно, и про ветер, и про дядьку, и про ветку, вплоть до снегиря, рассказала Люда дома бабушке. Та охала, вздыхала, да и сама себе выговаривала за то, что отпустила ее одну в такую дорогу.

Девочка еще спала, когда в окошко кто-то постучал. Она сквозь сон слышала разговор бабушки. А та уже и ее будила:

— Вставай, вставай, внученька. Трофимовна стучала. Каникулы прошли. Ученье нынче в школе.

Сон как рукой сняло. Люда еле дождалась, пока бабушка заплетет косички. Она очень торопилась и самая первая прибежала в школу.

— Тетя Трофимовна, а скажи, — спросила она у сторожихи, — бывают настоящие волшебники, взаправдашние?

— Откуда же им взяться, взаправдашним, — рассудила та, — только разве в кино!

— Кто это волшебниками интересуется? — вдруг раздался за спиной Люды хрипловатый голос. Она вздрогнула и обернулась. А это был он. Вчерашний дядька. Только без

шубы, в руках у него вместо мешка был классный журнал. Он наклонился над Людой, как там, в лесу.

— Ба, ба! Да это, по-моему, снегурочка: верно! Ну, проходи в класс! Сегодня начнем заниматься, я у вас буду учителем. — Он весело рассмеялся. А Люда глядела молча. Тоже рассмеялась. Сначала тихо, а потом все громче и громче. Так они вдвоем и смеялись, а Трофимовна с удивлением глядела и ничего не понимала.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Чрезвычайное обстоятельство 4
На таежном разъезде 52

РАССКАЗЫ

Подарок 118
Уголок свиданий 135
Рябина у крыльца 150
У «Доброго пути» 176
Разговор по душам 189
Решение 202
Поехал он к Черному морю 218
Обыкновенная сказка 229
Березовая ветка 232

Владимир Андреевич Коньков

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Повести. Рассказы

Редактор Л. В. Глебова. Художник А. С. Ротовский. Художественный редактор В. П. Кравчук. Технический редактор Г. Н. Манохина. Корректор Л. В. Волковская

ИБ № 1115

Сдано в набор 08.12.86. Подписано к печати 13.04.87. ОП 01133. Формат 70×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура Литературная Печать высокая. Усл. печ. л. 10,5. Усл. кр.-отт. 10,85. Уч.-изд. л. 11,53. Тираж 15000 экз. Заказ 22260. Цена 90 к.
Кемеровское книжное издательство.
Кемеровский полиграфкомбинат.
Адрес издательства и типографии:
650059, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5.